

Ника Фрост

ПЯТЬ ЗАРУБОК

ЛИШНИЙ
В ХОРОВОДЕ

Ника Фрост

Лишний в хороводе

«Тайниковский»

2026

Фрост Н.

Лишний в хороводе / Н. Фрост — «Тайниковский», 2026

Говорят, человека невозможно забыть по-настоящему. Глеб тоже так думал. Он помнит девять лет с женой: её смех, привычки, голос. Помнит всё, кроме одного — её лица. А потом приезжает снимать фильм в затерянную среди лесов деревню Студенец, где на Святки люди надевают старые личины. Здесь нельзя считать ряженных. Нельзя называть того, кто скрывается под маской, по имени. И нельзя оборачиваться, если кто-то назвал тебя. Потому что иногда в хороводе появляется лишний. Человек, которого ещё вчера любили и ждали, а сегодня уже не могут вспомнить. Глеб приехал сюда снимать чужую историю. Но вскоре понимает: Студенец слишком многое знает о его собственной. И, возможно, женщина, которую он потерял, всё это время ждала лишь одного. Чтобы он наконец её узнал.

© Фрост Н., 2026

© Тайниковский, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Девять и десять	7
Глава 2. Харная клеть	15
Глава 3. Первый вечер	23
Глава 4. Лишний кадр	31
Глава 5. «Не окликай»	40
Глава 6. Тетя Никто	48
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Ника Фрост

Лишний в хороводе

Пролог

Было это при царе, при котором за двуперстие ноздри рвали. Шли лесом люди старой веры, шли от Волги, от самого Керженца, с бабами, с ребятами, с иконами в холстине. Шли третий месяц, а за ними шла воинская команда: капитан, да двадцать солдат, да поп никонианский с крестом. Кого догонят, того в железа, а кто упрется, того в сруб да огня под венец.

Дошли беглые до Лихолесья, до самого его полуночного края. Стоит угор над озером, под ним ключ бьет, студень, и в мороз не мерзнет. Тут и сели, потому что дальше идти сил не стало. Дело было под Рождество. Срубили к ночи шалаши, сидят, костров не жгут, детям рты завязали, чтоб не плакали. А команда уж близко: слышать, как лошади фыркают.

Тогда и вышла к ним из лесу баба. Долгая, худая, что жердь. Лица на ней не было. Не то чтоб страшное или темное, а вовсе никакого: глядишь – и глаз не за что зацепить, одна кора да посередь сучок.

– Чего сидите? – спрашивает. – Беда за вами идет, а вы сидите.

– Некуда нам дальше, – отвечает ей старец ихний, Харитон. – Тут и помирать будем.

– Зачем помирать. Я вас спрячу.

– Куда ж ты нас спрячешь, матушка? Лес голый, следы по снегу.

– А не в лес. Я вас за личины спрячу. Беда, она ведь как ищет? Она в лицо ищет. Знает, кого ей надо, по имени да по обличью. А наденешь чужую харю, имя свое проглотить – она мимо пройдет, не признает. Нынче вечера такие, что всякая нежить в личинах ходит, одной харей больше, одной меньше. Вырежьте себе из бересты да из липы, наденьте и ступайте им навстречу, с песнями. Они и не поймут, кто вы.

Задумался Харитон. Ряженье-то у них за грех считалось, за бесовскую потеху.

– А что возьмешь за это?

– Лицо, – говорит баба. – Одно в год. У меня своего нету, сами видите. Не дадено. А мне среди людей ходить надо, счет вести. Как без лица к людям выйдешь?

– Как же это – лицо отдать? Помрет человек?

– Не помрет. Жить будет. Только никто на него не глянет и никто его не вспомнит. Будет ходить промеж вас, дрова вам колоть, воду носить, а вы его замечать не будете. Лишний, одно слово. Двенадцать годов походит, а на тринадцатый сотрется, как след на снегу.

Зашумели тут беглые. Одни говорят: лучше в сруб, чем этак. Другие говорят: одного отдать – сорок душ спасти, какой же тут грех. А команда все ближе.

И была среди них девка, сирота, Харитонова приемыш. Кривая на один глаз: в малолетстве веткой выхлестнуло. Замуж ее никто не брал, имени ее с той поры вслух не поминают. Встала она и говорит:

– Мое берите. Мне оно все одно без надобности. Кривую не жалко.

И никто ей слова поперек не сказал. Вот что запомни: никто. Ни Харитон, ни бабы, ни те, с кем она из одной чашки ела. Глаза опустили и молчат. Кривую не жалко.

Поглядела на нее безлика, долго глядела. Потом провела ей ладонью ото лба к подбородку, как паутину снимают. И стало у девки на месте лица гладко да пусто, а у той бабы – лицо. Девкино. Кривое на левый глаз.

– Ну вот, – говорит. – Теперь хоть в люди. Уговор мой такой. Двенадцать вечеров носите личины, от звезды до петухов. Друг дружку не считайте: сочтешь – одним больше выйдет. По имени ряженого не окликайте, и сами не оборачивайтесь, коли окликнут. Обернулся – значит,

признался, что ты это ты, и беда тебя увидала. А на Крещение ступайте на ключ, снимайте хари да умывайтесь. Кто умоется и лицо на месте – тому год жить без беды. А у одного лицо в личине останется. То мое.

– А ежели не станем отдавать? – спрашивает Харитон.

– Тогда я сама приду и возьму. Не одно, а сколько задолжали.

– А вернуть его можно? Лишнего-то?

Усмехнулась баба девкиным ртом.

– Можно. Покуда год не вышел. Надо, чтоб его узнали. Без лица, по одной повадке. Да имя его сказали, полное, какое поп давал. Только кто ж узнает? Вы и с лицами-то друг на дружку не глядите. Вон, сорок душ стояло – и ни один не глянул, какая она была, пока была.

Надели беглые личины и пошли навстречу солдатам с колядой. Капитан плюнул: деревня какая-то, мужичье ряженое, раскольников тут нету. И увел команду на полдень, и больше в те края не ворочался.

А беглые на том угоре и остались. Деревню по ключу назвали – Студенец. Личины с той поры режут Харитоновы внуки, оттого и пишутся Харины. И всякие Святки в Студенце рялятся все до единого, и старый и малый, и никто никого не считает.

Потому что, говорят, сочтешь – и выйдет на одного больше, чем живет в деревне. А кто он, лишний, и откуда взялся – про то не спрашивай. Сам, поди, не помнишь, как его звали.

Глава 1. Девять и десять

Пленка была черно-белая, шестнадцать миллиметров, и пахла уксусом. Нелли Борисовна заправляла ее в монтажный стол сама, никому не доверяя. Пальцы у нее были тонкие, сухие, с коротко остриженными ногтями, и работали они с той бережной быстротой, с какой медсестры перевязывают ожоги. Глеб сидел рядом на вертящемся стуле и ждал. Он видел эту пленку уже раз двадцать. Двадцать первый был нужен не ему, а ей.

– Только я вас прошу, Глеб Андреевич. Не останавливайте на том месте. Она там и так еле дышит, эмульсия сыплется.

– Не буду.

– Вы каждый раз говорите «не буду».

Стол загудел. На матовом экране размером с книгу поплыл снег, потом снег кончился и началась деревня. Улица в один ряд, избы под шапками, дым столбом. Мужик в тулупе ведет под уздцы лошадь, лошадь косится в объектив. Баба несет на коромысле ведра. Оператор в семьдесят восьмом году был хороший, ленинградской школы: камера у него не дергалась и не сутилась, а смотрела, как смотрит спокойный человек.

Звука не было. Звуковая дорожка, записанная на отдельную магнитную ленту, до архива не доехала.

Потом сразу, без перехода, была ночь. Крыльцо, освещенное из открытой двери. На крыльцо поднимались ряженые.

Глеб считал их в двадцать первый раз, и в двадцать первый раз у него выходило то же самое. Коза с соломенной бородой. Медведь в вывороченной шубе. Долговязый кто-то с клювом на палке, журавль. Старик с мочальной бородой до пояса. Баба с лицом, вымазанным сажей. Двое маленьких, по виду ребятишки, в берестяных харях с дырками. Кобыла: двое под одной попоной, с головой из лубка. Последней шла Смерть, в белом, с репяными зубами.

Девять. Кобылу он считал за одну, потом за двоих, потом опять за одну. Если за двоих, то десять. Он на этом и остановился: в избу вошло десять человек в девяти личинах.

Монтажная склейка, грубая, черновая. Та же дверь, тот же свет. Они выходили.

Коза. Медведь. Журавль. Старик. Баба в саже. Ребятишки. Кобыла. Смерть.

И еще один.

Он шел последним, чуть отстав. Высокий, сутуловатый, в длинной рубахе поверх тулупа, подпоясанный. На лице у него была личина, каких Глеб на входе не видел: гладкая, светлая, береста без рисунка. Ни рта, ни бровей. Две дырки для глаз. Он спустился с крыльца, остановился и повернулся к камере.

Нелли Борисовна рядом перестала дышать.

Человек в берестяной личине поднял руки. Обе. Руки были без рукавиц, и пальцы на правой, большой и указательный, быстро терлись друг о друга, будто что-то сматывали. Потом он взялся за края личины и потянул вверх.

Экран вспыхнул белым. Пленка кончилась и захлопала хвостом по катушке.

– Вот, – сказала Нелли Борисовна. Голос у нее был ровный, только очень тихий. – Вот это папа. Он так делал, когда нервничал. Мотал. У него профессиональное было, от ленты. Мама говорила: Лева, перестань, с ума сойти можно. А он не замечал.

Она выключила стол. В монтажной стало слышно, как за стеной, в коридоре студии, кто-то ругается по телефону насчет аренды света.

Коробка от пленки лежала тут же. Жестяная, круглая, с бумажной наклейкой, надписанной от руки фиолетовым карандашом. Глеб знал надпись наизусть. «Святки в Студенце. Реж. Одинцов П. А. Опер. Клюев. 1978. Не окончен». И ниже, другой рукой, шариковой ручкой: «Звукооп. Гуревич Л. Б. – выбыл».

– Выбыл, – повторила Нелли Борисовна, проследив за его взглядом. – Мне было девятнадцать. Они вернулись в конце января, вчетвером. А уезжали впятером. Мама пошла на студию. Ей говорят: Гуревич? Какой Гуревич? Потом подняли ведомость, нашли. Да, говорят, был такой. Числился. А где он, куда делся, никто объяснить не может. Одинцов, режиссер, сидит и трет лоб. Говорит: Рита, я помню, что с нами был звуач. Я помню, что я на него орал. Я лица его не помню.

– Вы рассказывали.

– Я знаю, что рассказывала. Я еще раз расскажу, вы потерпите, – она сняла очки и стала протирать их подолом кофты. – У нас дома был альбом. Свадебные, с моря, я у него на плечах. Мама после того января открыла, а там на всех карточках, где он, пятно. Как будто засвечено. Не на всей карточке, а вот тут, где лицо. Она решила, что с ума сходит. Отнесла в ателье. Мастер посмотрел и говорит: брак проявки. На сорока фотографиях разных лет – брак проявки. И я его не помню, Глеб Андреевич. Мне шестьдесят семь лет. Я помню, как он пах: канифолью. Помню голос. Помню вот это, – она потерла большим пальцем об указательный. – А лица нету. Я стараюсь, а там гладко.

Глеб молчал. В первый раз, три года назад, он слушал эту историю с тем холодным, цепким интересом, который в себе знал и которого слегка стыдился. Так слушают, прикидывая, как это ляжет в монтаж. Старуха-архивистка, сумасшедшая или нет, с отцом без лица. Отличный персонаж. Крупно руки, крупно коробку.

Теперь он слушал иначе. Он сам не понимал, что переменялось.

– Вы едете, – сказала Нелли Борисовна. Она не спрашивала.

– Еду. Грант дали. Шестого уже надо быть на месте.

– Я вас три года уговаривала.

– Меня не вы уговорили. Меня платформа бросила.

– Какая разница, – она надела очки и посмотрела на него строго, как смотрела, должно быть, на практикантов, путавших негатив с позитивом. – Вы только там не считайте. Я вас очень прошу. Я не знаю, что там такое. Но Клюев, оператор, перед смертью мне сказал: Неля, это потому, что Лева их сосчитал. Он же звуач, у него привычка: сколько микрофонов, столько людей. Он сосчитал и говорит Одинцову: Паша, у нас лишний в кадре. А наутро его не стало.

– Нелли Борисовна. Я документалист. Считать – это моя работа.

– Вот я и боюсь, – обреченно ответила она.

* * *

Домой он шел пешком, через мост. Декабрь выдался бесснежный, город стоял черный и мокрый, и гирлянды на проспекте отражались в лужах. Через три недели Новый год. Он третий раз будет встречать его один. В прошлый раз купил себе бутылку коньяка, включил какой-то сериал и уснул на шестой минуте.

Квартира была трехкомнатная, на девятом этаже, купленная в ипотеку в тот год, когда «Отделение» собрало четыре миллиона просмотров и ему казалось, что так будет всегда. Теперь он жил, по сути, в одной кухне. Там стоял диван, там был ноутбук, там он ел и спал. В спальню заходил за чистой рубашкой. Третью дверь, в конце коридора, с наклейкой в виде экскаватора на уровне детского роста, не открывал вовсе.

Он поставил чайник. Сел. Достал телефон.

Это тоже был ритуал, вроде двадцать первого просмотра. Он открывал галерею и листал назад, в позапрошлый год и дальше. Не затем, чтобы растравить себя. Он проверял.

Вот они на даче. Сева на качелях, рот до ушей, челка в глаза. Настя стоит сбоку, держится за веревку. Лица не видно: она отвернулась, смотрит на сына. Вот день рождения, торт, четыре свечи. Сева дует. Рядом рука с ножом, в кадр попало плечо и прядь темных волос. Вот море. Сева в панамке закапывает его, Глеба, в песок, а снимает, значит, она. Вот она сама, наконец:

селфи на фоне какой-то стены. Солнце бьет в объектив, и вместо лица – белый засвеченный овал в рамке волос.

Он листал дальше. Свадьба. Она смеется, запрокинув голову, и фата закрыла все, кроме подбородка. Она спит, уткнувшись в подушку. Она в капюшоне под дождем. Она в маске, это двадцатый год. Она за стеклом машины, по стеклу течет.

Девять лет. Три тысячи с чем-то снимков. Он однажды не поленился и посчитал, на скольких из них можно разглядеть ее лицо.

Ни на одном.

Раньше он объяснял это себе просто. Он снимал Севу. С первого дня, с роддома. Ребенок был главным героем, а жена – второй план, край кадра, рука с ложкой. Так часто бывает в семьях, где у отца камера. Потом, когда она ушла, он в сердцах что-то удалял. Наверное, удалил как раз те, хорошие, где она смотрит в объектив. Пьяный был, не помнит.

Объяснение его устраивало полтора года. А в последние месяцы перестало.

Потому что он стал замечать, что не может ее вспомнить. Не снимки – ее саму. Он знал про нее все. Рост метр шестьдесят восемь. Волосы темные, она их собирала карандашом на затылке, когда работала. Левша. Смеялась беззвучно, одними плечами. Писала звук на его первой картине, там и познакомились: она сидела на корточках у стены с наушниками на шее и сказала ему, режиссеру, при всей группе, что у него герой в кадре врет, а он не слышит. Он знал, как она пьет кофе и на каком боку спит.

А лицо не складывалось. Он закрывал глаза и видел волосы, шею, наушники. Овал. И в овале – ничего. Гладко.

«Я стараюсь, а там гладко», – сказала сегодня Нелли Борисовна, и у него под ложечкой стало холодно.

Чайник шелкнул. Глеб положил телефон экраном вниз.

Совпадение. Человек расстается с женой, проходит два года, память затирается. Это нормально, это защитная реакция, про это написаны книги. Он, в конце концов, и лица матери уже толком не помнит, а она умерла семь лет назад. А что на снимках ее не разобрать – ну так он же сам удалил. И вообще, архивная старуха со своим засвеченным альбомом села ему на мозги, вот и мерещится.

Записка лежала в ящике кухонного стола, под счетами за свет. Он не доставал ее давно. Листок в клетку, вырванный из Севиного альбома для рисования. Почерк с наклоном влево, как у всех левшей.

«Глеб, не ищи меня. Я не к кому-то, я от. Так будет лучше нам обоим. Севины вещи не трогай, пожалуйста. Н.»

Он и не искал. Сначала от обиды: ушла – и черт с тобой. Потом от стыда, потому что догадывался, от чего именно она ушла, и не хотел, чтобы ему сказали это в лицо. Потом привык.

В розыск он не подавал. Какой розыск, когда записка.

* * *

Из района позвонили в конце ноября, под вечер, когда он сидел над сметой и понимал, что смета не сходится. Номер был незнакомый, код неизвестный.

– Глеб Андреевич? – голос женский, суховатый, из тех, что бывают в паспортных столах. – Добрый вечер. Вас беспокоит администрация Усть-Лихвинского района. Мы получили вашу заявку на грант. Документальный фильм, «Последние ряженые».

– Да, – сказал в трубку Глеб. Заявку он отправил в сентябре, без всякой надежды, наткнувшись на конкурс «Живая традиция» на каком-то областном сайте. Отправил и забыл. – Да, это я.

– Заявка одобрена. Съёмки на Святки, деревня Студенец. Жилье предоставим, транспорт тоже.

– Подождите. Одобрена – это в каком объеме? Там в заявке бюджет...

– В полном. Перечислим до двадцатого декабря. Я Кривцова, Таисия Ильинична, заместитель главы по социальным вопросам. Все вопросы ко мне.

Он выпрямился. В полном объеме – это было два с половиной миллиона. За такие деньги можно было снять не просто фильм, а фильм с нормальной оптикой и с цветокоррекцией не на коленке.

– А сложности какие-нибудь есть? С местными, с разрешениями? Деревня, я так понимаю, закрытая. Туда в семьдесят восьмом году ездила группа, у них...

– Нет, что вы. Никаких сложностей. Старики там с характером, но гостеприимные, – в трубке помолчали. – Угощать станут – не отказывайтесь. И если предложат примерить личину, тоже не отказывайтесь. Обидятся.

– Личину?

– Маску. Это у них так называется. Вы на сколько человек группу планируете?

– На двоих. Я и оператор. Звукорежиссера хотел, но...

– На двоих, – повторила Таисия Ильинична, и ему послышалось, что она улыбается. – Хорошо. Пусть будет на двоих. В Студенце вас очень ждут.

Он положил трубку и сидел, глядя в смету. Потом набрал Тимура.

Тимур Хайдаров был его оператором двенадцать лет. Они сняли вместе шесть картин, включая «Отделение», объехали полстраны, однажды ночевали в вытрезвителе в Салехарде, по недоразумению, и дважды всерьез дрались. Тимуру было сорок шесть. У него были жена Гуля, трое детей, ипотека, больная спина и убеждение, что все беды на свете происходят оттого, что людям не сидится дома.

– Нет, – сказал Тимур, выслушав. – Глеб, нет. Какие Святки? Шестого января? У меня у младшей елка в саду, у средней соревнования, у Гули мать приезжает из Казани. Меня убьют. Меня не просто убьют, меня сначала разведут, а потом убьют.

– Две недели. С пятого по девятнадцатое.

– Две недели в январе в лесу. Спасибо. Я в прошлый раз после твоего Салехарда пиелонефрит лечил.

– Гонорар двойной.

В трубке стало тихо. Слышно было, как на том конце орет телевизор и кто-то маленький требует мультик.

– Двойной от чего?

– От обычного.

– От обычного, который ты мне за «Вахту» до сих пор должен?

– «Вахту» закрою из этого же гранта. Тимур, там деньги настоящие. Районные. Перечислят до двадцатого.

– Районные, – проворчал Тимур. – Откуда у района такие деньги на твои хороводы? Ты узнавал, что за контора?

– Конкурс «Живая традиция».

– Никогда не слышал.

– Я тоже. А перевод придет – услышим.

Тимур сопел. Глеб ждал. Он знал этого человека как собственный штатив: сначала скрипит, потом встает и стоит насмерть.

– Звук кто пишет?

– Никто. Вадик не дает ставку. Говорит, пиши на намерный.

– На намерный. Ряженных. Ночью, в избе, тридцать человек орут, – Тимур сказал это с отворачиванием. – Настю бы сюда. Она бы тебе на одну петличку всю деревню собрала.

Он осекся. Двенадцать лет он был человек тактичный, а тут вылетело.

– Извини.

– Ничего, – ответил Глеб. – Поедешь?

– Поеду. Гуле сам звонить будешь.

* * *

Усть-Лихва оказалась поселком в три улицы, заваленным снегом по самые окна. Здесь, в отличие от города, зима была настоящая: минус двадцать шесть, столбы дыма, скрип под ногами такой, что закладывало уши. От станции их вез частник на убитой «Ниве», и Тимур всю дорогу держал кофр с камерой на коленях, как младенца.

Администрация помещалась в двухэтажном здании странного бурого цвета. Перед крыльцом стоял маленький гипсовый Ленин в снеговой шапке.

– Какао, – сказал Тимур. – Цвет называется «какао с молоком». У нас в школе столовая такая была. Сними, красиво.

– Потом.

Таисия Ильинична Кривцова приняла их на втором этаже. Высокая, сухая, в сером. Гладкая прическа, костюм, герань на подоконнике. Глеб с порога по профессиональной привычке стал ее разглядывать и почти сразу понял, что с лицом у нее что-то не так. Левый глаз не двигался. Правый смотрел живо, внимательно, а левый, чуть более светлый, стоял на месте, уставившись в одну точку.

Протез. И кожа вокруг него была другая, чуть стянутая, как бывает после давней травмы.

– Ратников и Хайдаров, – сказала она, сверившись с бумагой. – Двое. Садитесь. Договор, акт, командировочные. Читайте, подписывайте. Автобус через час.

Читать Глеб не стал, пробежал глазами сумму и расписался. Тимур, человек обстоятельный, прочел все шесть страниц.

– А вот тут, – сказал он, ткнув пальцем. – Пункт четыре-три. «Исполнитель обязуется соблюдать местные обычаи и не препятствовать их отправлению». Это что значит?

– Это значит, что вы едете в гости, а в гостях не командуют, – Кривцова придавила листы от сквозняка какой-то деревяшкой. – Там свои порядки. Вам о них расскажут. Не спорьте, не смейтесь и делайте, как просят. Тогда все будет хорошо.

– А если не будем делать?

– Тогда не будет.

Она сказала это без угрозы, как сообщают прогноз погоды. Тимур хмыкнул и подписал.

Деревяшку Глеб рассмотрел, когда она убирала бумаги. Плоская палочка длиной с карандаш, темная, отполированная пальцами. На ребре зарубки, пять штук. Первая была перечеркнута крест-накрест, и надрез выглядел свежим. По второй хозяйка кабинета, разговаривая, водила ногтем.

– Интересная вещь, – сказал он. – Это что, счеты?

– Бирка. В старину так долги считали. Кто грамоты не знал, – правый глаз посмотрел на него с каким-то веселым вниманием. – Вы, я слышала, считать любите, Глеб Андреевич?

– Кто вам сказал?

– Никто. Профессия у вас такая. Документалист. Сколько было, сколько стало, кто виноват. Я ваш фильм смотрела, про больницу. Очень убедительно посчитано.

Он не понял, комплимент это или нет. Она уже протягивала ему тонкую папку.

– Это вам в дорогу. Краеведческая справка. Наш музей подготовил, Зимин Аркадий Львович. Выписка из одной старой тетради. Почтаете в автобусе.

– Спасибо.

– Не за что. Мне – не надо, – сказала Кривцова непонятно.

На улице Тимур поднял воротник.

– Заметил? – спросил он. – У нее лицо не ее.

– В смысле?

– Не знаю, в каком смысле. Я тридцать лет лица снимаю. Портрет – мой хлеб. У человека лицо и то, что за лицом, должны двигаться вместе. А тут как будто надето. Сидит ровно, не морщит, – он передернул плечами. – Ладно. Замерз я, вот и несу. Пошли на автостанцию.

* * *

Автобус был синий, ПАЗ, с красной надписью по борту: «Восток-1». Водитель, плотный мужик в тельняшке под распахнутым тулупом, прогревал двигатель и курил в форточку.

– В Студенец? Киношники? – он оглядел кофры, штатив, сумки со светом. – Грузитесь. Валера. Можно Космонавт.

Они таскали вещи в три захода. На третьем Глеб, пытаясь с ящиком из автостанции, на кого-то наткнулся спиной.

– Ой. Простите.

Он обернулся. Перед ним стоял человек в длинном пуховике болотного цвета, в шапке, натянутой до бровей, и в шарфе, замотанном до самых глаз. За спиной рюкзак, на плече, на широком ремне, квадратный кожаный кофр, потертый до белизны на углах. Судя по голосу и росту, женщина. Молодая или не очень, на таком морозе не разберешь.

– Вы Ратников? – спросила она. Шарф глушил слова. – Я Ася. Звук.

– Какой звук?

– Вам же звукорежиссер был нужен. На экспедицию. Меня прислали.

– Кто прислал?

– Ну... – она переступила с ноги на ногу. Валенки на ней были серые, подшитые, деревенские. – Сказали: группа Ратникова, Студенец, с пятого числа. Я приехала.

Глеб поставил ящик в снег. В голове у него быстро щелкало. Вадик. Сволочь Вадик, который три недели объяснял, что ставки нет и не будет, в последний момент, значит, нашел. И даже не предупредил, в своем стиле. Или это район расщедрился? Кривцова спрашивала про звукорежиссера. «Пусть будет на двоих», – сказала она, но мало ли.

– Вас Вадим Олегович нанял?

Она как-то неопределенно повела плечом. Не то да, не то «какая разница».

– У меня все свое, – сказала она. – Аппарат, микрофоны, пленка.

– Пленка?

Вместо ответа она отстегнула клапан кофра. Внутри, в гнезде из серого поролона, лежал катушечный магнитофон. Небольшой, плоский, с двумя бобинами под прозрачной крышкой и со стрелочным индикатором. Глеб таких не видел лет пятнадцать, с института.

– «Награ», – сказал у него за плечом Тимур с уважением. – Швейцария. Ты где ее взяла, красавица? Ей лет пятьдесят.

– Досталась.

– И работает?

– Работает. Я ее перебрала, – она защелкнула кофр. Руки у нее были в вязаных перчатках с обрезанными пальцами, и самые кончики пальцев, красные от холода, двигались ловко, привычно. – Она тепло пишет. На цифру так не запишешь, особенно голоса. Я на цифру тоже могу, если хотите. У вас же есть рекордер?

– Есть.

– Ну вот. Буду писать на оба.

Глеб смотрел на нее. На шапку, на шарф, на полоску между ними, где были глаза. Глаза как глаза. Он, профессионал, ловил себя на том, что не может сказать, какого они цвета. Ресницы в инее.

Что-то его в ней царапнуло. Он не понял что. Может быть, то, как она стояла: чуть перенесла вес на левую ногу, придерживая правой рукой локоть левой. Он где-то видел эту позу. У кого-то из своих героинь, наверное. Их за пятнадцать лет было много.

– Ладно, – сказал он. – Ася так Ася. Договор у вас с собой?

– Нет.

– Оформим на месте. Залезайте.

Она пошла к автобусу. Тимур придержал Глеба за рукав.

– Ты ее знаешь?

– Первый раз вижу.

– А мне показалось... – Тимур потер лоб рукавицей. – Кого-то она мне напоминает. Вот вертится, а не поймаю. Голос, что ли.

– Все звуками на одно лицо, – сказал Глеб. – Наушники и кислая мина.

Валера-Космонавт, стоя у передней двери, пересчитывал их пальцем, шевеля губами.

– У меня в путевке двое, – сказал он. – Режиссер и оператор.

– Нас трое.

– Трое? – Водитель посмотрел в салон. Ася уже сидела сзади, у окна, пристроив кофр на коленях. Он посмотрел на нее, сморгнул, посмотрел еще раз. Лицо у него сделалось озадаченное, как у человека, который вошел в комнату и забыл зачем. – А, ну да. Трое так трое. Мне без разницы, у меня мест двадцать четыре.

Он полез за руль, бормоча. Глеб расслышал: «Вроде возил... Или не возил...»

* * *

Дорога шла лесом. Сначала грейдер, потом зимник, накатанный лесовозами. Ели стояли по обе стороны белыми стенами. Глеб достал камеру, снял через лобовое стекло минуты три: проход, проход, поворот. Убрал.

– Лихолесье, – сказал Валера, не оборачиваясь. – С этой стороны оно пожиже, а с той, где Долгое было, вовсе стена.

– Почему «было»?

– Потому что нету больше. Упразднили осенью. Вымерла деревня за один месяц, девятнадцать стариков. Я их на кладбище возил, – он помолчал. – Я, ребята, по этому лесу двадцать два года езжу. Пять деревень вокруг него. В Долгом из автобуса не выходил: там кормили. В Студенце выхожу. Там кормят – ешь, не бойся, от ихней еды худа нет. Там другое.

– Что другое? – спросил Тимур.

– Там в лицо не гляди. И не считай никого. Вот приедете, вас встретят. Ты не прикидывай, сколько их. Трое, пятеро. Не надо. Ты смотри себе под ноги и здоровайся.

– Суеверие такое?

– Суеверие, – согласился Валера. – Я, знаешь, после этой осени ко всем суевериям с большим уважением отношусь.

* * *

Глеб открыл папку, которую дала Кривцова. Внутри лежал один листок, ксерокопия рукописной страницы. Старая орфография, яти. Почерк мелкий, бегущий. Сверху карандашом, уже современной рукой, было помечено: «Н. А. Вересов. Поездка в Лихолесье. 1911. Л. 58».

«Деревня Студенец на полуночной стороне. Дворов двадцать. Жители старой веры, но беспоповцы и к обрядности равнодушны. Примечательна святочным ряженьем, в коем участвует все население без изъятия, от малых детей до стариков, что для раскольников вовсе необычно.

Личины режут из липы и бересты. Хранят в особой клети и чужим не показывают. Меня допустили после долгих уговоров. Личин там сотни. Старые почернели. Некоторые сделаны с таким искусством, что кажутся снятыми с живого лица, и глядеть на них неприятно.

Считать ряженных почитается за тяжкий грех. На вопрос, сколько человек ходит, отвечают: Сколько есть, все наши“. Мой помощник, студент Лядов, человек молодой и насмешливый, на третий вечер сосчитал нарочно и уверял, что вышло одним больше против числа жителей вместе с нами. Я поднял его на смех.

На Крещение студента Лядова мы недосчитались. Розыски ничего не дали. Странное дело: никто из нашей партии не мог назвать его примет, хотя мы прожили бок о бок четыре месяца. И сам я, глядя сейчас на групповую фотографию, снятую в Усть-Лихве перед отъездом, вижу на его месте мутное пятно, какое бывает от дурно промытой пластинки».

Глеб перечитал последний абзац. Потом перевернул листок. На обороте ничего не было.
– Чего там? – спросил Тимур.

– Краеведение, – он убрал листок в папку. – Потом дам.

Он оглянулся. Ася сидела сзади, отвернувшись к окну. Шарф она так и не размотала, хотя печка в автобусе жарила вовсю. На коленях у нее лежал раскрытый кофр, и она, не глядя, перематывала что-то на магнитофоне. Правая рука лежала на бобине.

Большой и указательный пальцы быстро терлись друг о друга. Сматывали.

Глеб смотрел на эти пальцы секунд десять. Потом отвернулся. Мало ли. У всех, кто работал с лентой, одна моторика.

Студенец открылся под вечер, разом. Лес расступился, дорога пошла в гору, и на гребне, на фоне лилового неба, встали крыши. Одна улица в один ряд, окнами на закат. Ниже, под угором, лежало озеро, белое, ровное, и только у самого берега чернела полынья, над которой висел пар.

– Ключ, – сказал Валера. – Студенец. Не мерзнет ни в какой мороз. Они в нем на Крещение купаются.

В окнах горел свет. На улице не было ни души.

Автобус остановился у двухэтажного дома с резным крыльцом. Над крыльцом висел фонарь, и в его свете стояла женщина в полушубке и в цветастом платке, статная, румяная, с толстой русой косой, перекинутой на грудь.

– Ратников? – Голос у нее был низкий, грудной, поставленный. – С приездом. Ульяна. Отец в клетки, придет к ужину. Комнаты готовы, две, как заказано. Баня топлена.

– Нас трое, – сказал Глеб, прыгивая с подножки. – С нами звукорежиссер.

Он показал назад. Ася как раз спускалась, прижимая к боку кофр.

Ульяна посмотрела туда, куда он показывал.

Вернее, она повернула туда голову. Но глаза ее, серые, большие, ясные, сделали что-то такое, чего Глеб за пятнадцать лет работы с людьми ни разу не видел. Они обошли Асю. Скользнули слева, скользнули справа, как вода обтекает камень, и снова остановились на его лице.

– Двое так двое, – сказала Ульяна приветливо. – Трое так трое. Третьей постелим, где сама ляжет. Она знает где.

Глава 2. Харная клеть

Гостевой дом внутри пах сосной, печным теплом и свежим хлебом. Стены были бревенчатые, не обшитые, лестница на второй этаж – широкая, купеческая, с точеными балясинами. В простенках висели тканые дорожки. Глеб, втаскивая кофр, отметил про себя: дорого. Не «под старину», как делают в подмосковных усадьбах для корпоративов, а именно дорого и с умом. Полы теплые. Окна тройные, в деревянных рамах, но с хорошей фурнитурой. В углу прихожей, за вешалкой, мигал зеленым огоньком шкаф с аккумуляторами.

– Генератор у нас свой, – пояснила Ульяна, перехватив его взгляд. – И солнечные панели на крыше, летом. Линию до нас не тянули никогда. Розетки в комнатах есть, технику заряжайте.

– А интернет?

– Интернета нет. И сотовой связи нет, не ищите. Ближайшая вышка в Усть-Лихве, – она улыбнулась, и на щеках у нее обозначились ямочки. – За этим к нам и едут. Отдохнуть от всего.

– Кто едет?

– Постояльцы. Сейчас сами увидите, ужин в семь.

Комнаты на втором этаже оказались небольшие, чистые, каждая с отдельной печкой-голландкой. Кровати под лоскутными одеялами. На подоконнике в Глебовой стояла плошка с водой и в ней веточка можжевельника.

Тимур сразу повалился на свою кровать, не сняв унтов.

– Спина, – сказал он в потолок. – Шестьдесят километров по стиральной доске. Ты иди, я полежу. Скажи только, где у них тут... удобства.

– В конце коридора. Теплые.

– Слава Аллаху. Я после Салехарда в сугроб ходить зарекся.

Глеб вышел. Аси в коридоре не было. Не было ее и внизу, в прихожей. Кофр с «Нагрой» стоял у стены, рядом с их вещами, а самой ее след простыл.

– А звукорежиссер наш где? – спросил он Ульяну, которая несла через прихожую стопку полотенец.

– Кто?

– Девушка, которая с нами приехала. В зеленом пуховике.

Ульяна остановилась. На ее лице, открытом, красивом, появилось выражение вежливого терпения. Так смотрят на гостя, который спрашивает про то, о чем в доме говорить не принято.

– Устроилась, наверное, – сказала она. – Вы за нее не беспокойтесь. Баня через час, мужская очередь первая.

И ушла, прямая, ступая неслышно в вязаных носках.

«Она знает где», – вспомнил Глеб. Откуда приезжей знать, где ей лечь? Он постоял, глядя на кофр. Потом решил, что они с Асей, должно быть, знакомы: звуачка эта не первый раз здесь, писала какой-нибудь фольклор, оттого и «Награ», и валенки деревенские. Тогда понятно, почему район ее и прислал. А Ульяна на нее за что-то в обиде. Бабы дела.

Объяснение было складное. Он им удовлетворился.

* * *

Ужинали в трапезной, длинной комнате на первом этаже, с русской печью в полстены. Стол стоял один, общий, под льняной скатертью. Глеб, войдя, первым делом по привычке пересчитал приборы.

Четырнадцать.

И поймал на себе взгляд. У печи, на лавке, сидел старик, такой древний, что казался вырезанным из того же дерева, что и лавка. Борода у него была желтая от старости, а глаза под бровями – маленькие, острые, совершенно трезвые.

– Считаешь, – сказал старик. Голос был скрипучий, но громкий. – Только вошел – и уж считаешь. Городская привычка. Ну, тарелки считать можно. Тарелки не люди.

– Здравствуйте. Глеб.

– Знаю, что Глеб. Пахом. Сто лет мне, если тебе интересно. В сентябре стукнуло. Вам, киношникам, всегда интересно, сколько кому лет.

– А вы уже встречали киношников?

– Встречал. В семьдесят восьмом годе. Пятеро приезжало, – дед пожевал губами. – То есть четверо. Четверо, да.

Он отвернулся к печке. Глеб хотел спросить еще, но в трапезную уже входили люди.

Первой, из двери в кухню, появилась кухарка с чугуном в ухвате, тяжелая краснолицая женщина лет шестидесяти пяти, которую Ульяна назвала Степанидой. За ней, с охапкой поленьев, прошел сутулый мужик в ватнике. Он свалил дрова у печи, ни на кого не глядя, и так же молча вышел. «Мирон, истопник, – сказала Ульяна. – Он у нас неразговорчивый».

Потом пошли постояльцы.

Глеб смотрел на них, как привык смотреть на кастинге: быстро, цепко, раскладывая по типажам. Это было сильнее его.

Вот высокий, грузный, с седой гривой до плеч и с бородой венником. Ряса? Нет, длинная вязаная кофта, но носит он ее как рясу. Перекрестился на пустой угол, где не было иконы, и сел, отдуваясь. «Никодим», – представился он басом и добавил: «Бывший отец. Ныне так, сосед».

Вот мягкий, лысоватый, в дорогом кашемировом свитере и в валенках с галошами. Вошел бочком, оглядел стол, увидел у Глеба на плече камеру и побелел.

– Это что? Это зачем? Ульяна Ефимовна, мы так не договаривались! В условиях было четко: никакой съемки!

– Аркадий Семенович, это гости. Они ряженье снимают. В личинах.

– Меня не снимать! – Оон выставил ладонь, заслоняя лицо, и так, боком, добрался до своего стула. – Ни в каком виде. Я запрещаю. У меня есть право на изображение, статья сто пятьдесят два точка один!

– Не буду, – сказал Глеб. Камеру он опустил. – Без разрешения не снимаю.

– Все так говорят, – буркнул Аркадий Семенович и уткнулся в тарелку.

Вот женщина лет сорока, тонкая, коротко стриженная, с быстрыми испуганными движениями. Она вела за руку мальчика лет девяти и, прежде чем сесть, посмотрела на окна: задернуты ли. Мальчик, круглолицый, вихрастый, во все глаза уставился на камеру.

– Мам, это кино? Настоящее?

– Гоша, сядь. Не приставай.

– А меня покажут?

– Нет. Тебя не покажут, – она сказала это слишком резко и тут же, спохватившись, погладила его по голове. – Нонна, – бросила она Глебу, не подавая руки.

Вот парень, года двадцать два, не больше. Плечистый, скуластый, с обветренным лицом и с руками, которые он все время прятал под стол. Сел с краю. Назвался: «Костя». Больше не сказал ни слова и за весь ужин ни разу не поднял глаз.

Вот старушка в темном платке, маленькая, чистенькая. Баба Сима. Эта, наоборот, заулыбалась, закивала: кушайте, кушайте, гости дорогие, с дороги-то.

Глеб считал, не шевеля губами. Пахом, Степанида, Мирон, Ульяна. Никодим, Аркадий, Нонна, мальчик, Костя, Сима. Десять. Хозяин, Ефим, которого еще нет, – одиннадцать. Они с Тимуром – тринадцать.

А приборов четырнадцать.

«Ася», – подумал он и успокоился.

Но Ася не пришла. Четырнадцатый стул, между бабой Симой и пустым торцом стола, так и стоял незанятый, пока в дверях не появилась еще одна женщина.

Она вошла последней, когда уже разливали щи. Невысокая, очень худая, в сером свитере под горло. Волосы, совершенно седые, были стянуты в узел. Лицо сухое, с глубокими складками у рта. Она шагнула к своему месту, подняла глаза и увидела Глеба.

Он не сразу понял, что произошло. Она остановилась так, будто наткнулась на стекло. Рука ее, протянутая к спинке стула, повисла в воздухе. Лицо не изменилось. Оно просто перестало быть лицом и сделалось чем-то вроде гипсового слепка.

Потом она повернулась и вышла. Не сказав ни слова.

За столом сделалось тихо. Никодим кашлянул в бороду.

– Регина Павловна сегодня не в духе, – произнесла Ульяна легким голосом. – Степанида, отнеси ей в комнату.

Регина Павловна. Глеб перебирал в памяти. Он ее знал. Точно знал, видел, говорил с ней. Но женщина, которую он помнил под этим именем, была полная, темноволосая, громкая, в белом халате и с золотой цепочкой на шее. Главный врач районной больницы. Она сидела перед ним в своем кабинете и говорила в камеру сорок минут подряд, а он кивал и ждал, когда она скажет фразу, которая ему нужна. Она ее сказала. «Да, я знала, что аппарат неисправен». Все остальное из сорока минут в фильм не вошло.

«Отделение». Двадцатый год. Четыре миллиона просмотров.

Не может быть. Та была на двадцать лет моложе.

– Тимур, – сказал он вполголоса. Тимур, спустившийся к ужину, сидел рядом и сосредоточенно ел. – Женщина, которая сейчас вышла. Ты ее узнал?

– Седая? Нет. А должен?

– Донцова.

Тимур перестал жевать. Положил ложку.

– Из Верхотомска? Главврач?

– По-моему, да.

– Ты же говорил, она уехала за границу. К дочери.

– Я говорил, что слышал.

– Вот оно что, – сказал Тимур медленно. Он оглядел стол: Аркадия Семеновича, заслонившегося от мира локтем, Нонну, косившуюся на окна, молчаливого Костю. – Глеб. А куда мы, собственно, приехали?

* * *

Хозяин явился, когда подали пироги.

Глеб ждал почему-то старца. Патриарха с бородой, вроде деда Пахома, только помоложе. А вошел небольшой, сухой, быстрый человек в меховой безрукавке, бритый, с коротким седым ежиком. Руки он на ходу вытирал тряпицей, и от него пахло липовой стружкой и олифой. Лет ему можно было дать шестьдесят, хотя Ульяна сказала по дороге, что отцу семьдесят два.

– Не вставайте, не вставайте, – он обошел стол, каждому кивнув, тронув кого за плечо, кого за спинку стула. Жест был хозяйский, но не барский, – Ефим Лукич. Харин. Простите, что не встретил, работа была срочная, к завтраму. Как доехали? Космонавт наш не растряс?

– Спасибо, нормально.

– Устроились? Тепло ли? Ульянка, ты им в бане веники можжевеловые положила? Положи. С дороги первое дело – можжевельник.

Он сел на торец, во главе стола. Глаза у него были светлые, почти бесцветные, в лучиках морщин, и смотрели они на гостей с таким открытым добродушием, что Глеб по опыту насторожился. Он знал, что люди с таким взглядом бывают двух сортов: или святые, или очень хорошие продавцы.

– Значит, кино, – сказал Ефим Лукич, принимая у Степаниды тарелку. – Это хорошо. Это дело нужное. Я, знаете, сам хотел, чтоб сняли. Уйдет ведь. Я последний резчик. Ульянка

петь умеет, водить умеет, а резать у нее рука не лежит. Помру – и некому личину сделать. А без личины какие Святки.

– Мы постараемся, – сказал Глеб. – Ефим Лукич, я хотел сразу обсудить условия. Что можно снимать, что нельзя. Мне уже сказали, что есть правила.

– Есть, – хозяин кивнул. – Три закона у нас. Я вам их скажу один раз, а вы запомните, потому что повторять в Святки не принято. Первый: не считай. Сколько ряженных в избу вошло, сколько вышло – не твоя забота. Второй: не окликай. Под личиной у человека имени нет. Ты его знаешь, я его знаю, а вслух не говори. И сам, если тебя кто по имени позовет, когда ты в личине, не оборачивайся. Хоть мать родная зовет. Третий: не снимай до петухов. Надел на первой звезде – и до утра твое лицо вот оно, липовое. Ни при людях не снимай, ни в зеркало в нем не глядись.

– Это для жителей. А для нас?

– А вы чем лучше? – он улыбнулся. – У нас, Глеб Андреевич, зрителей не бывает. Кто на Святки в Студенце – тот и ходит. Вам личины готовы, я с осени резал, как только из района сказали, что будете. Наденете и пойдете со всеми. С камерой, пожалуйста, это сколько угодно.

– А если мы не хотим в масках?

– Тогда сидите в комнате, с вечера до утра, с закрытыми ставнями. Двенадцать ночей, – Ефим Лукич развел руками. – Я не неволю. Только что вы тогда снимете?

Тимур под столом наступил Глебу на ногу. Глеб понял: пункт четыре-три. «Не препятствовать отправлению».

– Хорошо. А днем? Интервью, быт, лица?

За столом что-то произошло. Аркадий Семенович втянул голову в плечи. Нонна прижала к себе мальчика. Костя, не поднимая глаз, отодвинулся вместе со стулом на полшага от стола, в тень.

– Лица, – повторил хозяин мягко, – Не надо. Вот это уж простите. Меня снимайте, Ульянку, Пахома, если уговорите. Симу. Мы коренные, нам все одно. А гостей наших – только в личинах. У каждого свои причины. Люди сюда за покоем приехали.

– За покоем, – сказал Глеб. – Понятно.

Ему и вправду становилось понятно. Не все, но направление. Дорогой дом в глуши, без связи, без интернета. Постояльцы, которые шарахаются от камеры. Бывшая главврач, пропавшая с горизонта три года назад. Человек в кашемире, знающий наизусть статью о праве на изображение.

Он почувствовал знакомый зуд под ребрами. Тот самый, с которого начинались все его лучшие картины. Он ехал снимать этнографию, хороводы и бересту, а тут, похоже, было кое-что получше.

– А кто у вас обычно гостит? – спросил он как бы между делом.

– Разный народ. Кому тишины надо, – Ефим Лукич отломил кусок пирога. – Вы ешьте, ешьте. Рыбник у Степаниды первый в районе.

Глеб ел. Рыбник был и вправду хорош. Он жевал и разглядывал печь.

Печь была большая, беленая, с широким шестком. И на шестке, в ряд, стояли миски. Глиняные, одинаковые, прикрытые каждая ломтем хлеба. Он пересчитал их раньше, чем успел себя остановить.

Двенадцать.

– А это кому? – он кивнул на шесток.

– Это своим, – ответила Степанида, проходя мимо с пустым чугуном. Сказала буднично, как говорят «это кошке».

– Каким своим?

– А тетя почему не идет кушать? – спросил вдруг мальчик Гоша на всю трапезную. Он вертелся на стуле, глядя в сторону двери. – Которая с ними приехала. Она в сенях стоит. Мам, можно я ее позову?

– Нет там никакой тети, – быстро сказала Нонна и побледнела. – Ешь.

– Есть! Она мне рукой помахала! Она раньше в бане жила, а теперь с дядями ходит!

– Гоша!

– Ну мам!

– Я сказала – ешь и молчи. Сколько раз тебе говорить: про них нельзя.

Мальчик надулся и уткнулся в тарелку. Глеб оглянулся на дверь. В проеме, в полутьме прихожей, ему почудилось движение: край зеленого рукава. Потом и его не стало.

– Глеб Андреевич, – Ефим Лукич все улыбался, но глаза у него перестали лучиться. – Вы у нас первый вечер. Я вам три закона сказал. Сейчас четвертый скажу, он не для Святков, а на всякий день. Чего не понимаешь – того не замечай. Целее будешь.

С лавки у печи хихикнул дед Пахом.

– Не замечай, – передразнил он. – Он киношник, Ефимка. Он за то деньги получает, что замечает. Тот, в семьдесят восьмом, тоже все замечал. С катушками.

– Дед, – сказала Ульяна.

– Молчу, молчу.

* * *

Заснуть Глеб не смог. Тимур за стенкой храпел ровно и мощно, как дизель. В голландке потрескивало. В третьем часу он оделся, взял сигареты, которые бросал уже четыре раза, и спустился на крыльцо.

Мороз за ночь окреп. Небо было черное, вызвезженное до самого горизонта, и Млечный Путь стоял над озером столбом. Глеб закурил, пряча огонек в кулак. Улица лежала перед ним пустая, синяя от снега. Ни одного окна.

Потом он услышал скрежет.

Мерный, ровный: шарк – пауза, шарк – пауза. Так скребет по насту широкая деревянная лопата. Звук шел слева, от соседнего двора. Глеб всмотрелся. У калитки двигалась темная фигура. Человек чистил дорожку. В три часа ночи, в тридцатиградусный мороз.

Он работал хорошо, споро. Нагибался, поддевал, отбрасывал. За ним оставалась ровная полоса, от калитки к крыльцу.

«Мирон, – подумал Глеб. – Истопник. Бессонница у человека».

Но Мирон был сутулый и невысокий. А этот – длинный, узкоплечий.

– Эй! – окликнул Глеб негромко. – Сосед! Не спится?

Фигура не обернулась. Даже не сбилась с ритма. Шарк – пауза. Шарк.

– Эй, я к вам обращаюсь!

Он сошел с крыльца и двинулся по улице. Снег визжал под подошвами. До соседней калитки было шагов тридцать. Он прошел их, не сводя глаз с темного силуэта, и на двадцать пятом шаге моргнул, потому что от мороза слезились глаза.

У калитки никого не было.

Лопата стояла, воткнутая в сугроб. Черенок еще покачивался. Дорожка была расчищена до половины. На свежем срезе снега, ровном, как отрезанный ножом, он увидел следы: большие, от валенок. Они шли к крыльцу, огибали дом и пропадали за углом.

Глеб постоял. Сигарета догорела до пальцев.

– Не зовите их.

Он обернулся так резко, что поскользнулся. В пяти шагах, на дороге, стояла Ася. Тот же пуховик, та же шапка, тот же шарф до глаз. Когда она подошла, он не слышал.

– Вы меня напугали.

– Простите. Я не хотела, – голос из-под шарфа был глуховатый. – Не зовите их. Они не обернутся. Их отучили.

– Кого – их?

– Тех, кто снег чистит. Дрова колет. Воду носит. Вы завтра утром выйдете, а у всех дворов расчищено и поленницы полные. Тут так всегда.

– Кто они?

Она помолчала. Он видел, как у нее под шарфом двигается подбородок, будто она подбирает слова и ни одно не подходит.

– Не могу, – сказала она наконец. – Не получается сказать. Вы потом сами. Вы же замечаете.

– Вы здесь раньше бывали?

– Бывала.

– Долго?

– Долго.

– А где вы ночуете? Ульяна сказала, вы знаете где.

– В бане, – ответила Ася просто. – На полке. Там тепло, ее каждый вечер топят. Вы не думайте, мне удобно.

– В бане? У Тимура в комнате диван свободный. Что за дикость?

– Не надо. Правда. Мне в доме нельзя, – она поправила шарф. – То есть не «нельзя», а... Не важно. Идите спать, Глеб. Завтра Сочельник, длинный день.

Она назвала его по имени, без отчества. Он отметил это уже потом, поднимаясь по лестнице. И еще отметил, что нисколько не удивился.

* * *

Шестое января выдалось ясное, слепящее. Они с Тимуром с утра ходили по деревне, снимали натуру: думы, наличники, озеро с черной полыней, обледенелый сруб над ключом. Все дорожки, как и обещала Ася, были расчищены. Поленницы стояли полные.

– Трудолюбивый народ, – сказал Тимур, наводясь на избу с резными причелинами. – Когда успевают? Я с рассвета в окно глядел – ни души. А поди ж ты.

– Ночью.

– Ночью люди спят.

– Не все.

Тимур оторвался от видоискателя и посмотрел на него.

– Ты чего такой?

– Не выспался.

Ася ходила с ними. Она писала атмосферу: скрип снега, собачий лай с дальнего конца, звон ведра о сруб. «Награ» висела у нее на плече, в руке она держала микрофон на коротком удиле, в меховой ветрозащите, похожей на дохлую кошку. Работала она молча, толково и ни разу не влезла в кадр. Глеб, сам того не желая, поглядывал на нее. Шарф она не разматывала и на солнце.

Деда Пахома они нашли на завалинке. Он сидел в тулупе до пят, выставив бороду, и жмурился.

– Сымай, – разрешил он, не открывая глаз. – Мне не жалко. Меня в семьдесят восьмом сымали, я тогда молодой был, пятьдесят два. В кино, правда, не видал себя. Не вышло у них кино.

– Почему не вышло?

– Потому что звуковик ихний сосчитал, – дед открыл один глаз. – Левка. Длинный такой, носатый. Катушки все мотал пальцем. Хороший парень, вежливый. Я ему говорил: Лева, ты не считай. А он смеется: я, дедушка, не считаю, я фиксирую. У меня, говорит, микрофонов восемь, а голосов на ленте девять. Откуда девятый?

Ася стояла в двух шагах. Микрофон в ее руке не дрогнул, но Глеб заметил, что она перестала дышать.

– И что с ним стало?

– А что бывает, – Пахом закрыл глаз. – Ты, милый, к Ефиму ступай с такими вопросами. Я старый, я заговариваюсь. Мне сто лет, с меня спрос какой?

* * *

К Ефиму Глеб попал под вечер.

Харинский дом стоял на краю, последний в порядке, большой, пятистенный, с мастерской в пристройке. А за домом, на четырех толстых столбах, чтобы не достали мыши, поднимался амбар. Старый, черный, срубленный из бревен в обхват. Окон в нем не было. Дверь, окованная полосами, была приоткрыта, и оттуда падал на снег желтый свет.

– Заходи, раз пришел, – донесся изнутри голос хозяина. – Только аппарат оставь на крыльце. Клеть не снимают. Это уж ты меня прости.

Глеб снял с плеча камеру, поставил на ступеньку. Вошел, пригнувшись под низкой приотолокой.

И остановился.

Он за свою жизнь видел много собраний. Музейные запасники, костюмерные, склады реквизита. Но такого не видел.

Личины висели на стенах. От пола до потолка, рядами, на кованых крюках. Сотни. Свет керосиновой лампы ходил по ним, и казалось, что они шевелятся. Ближние к двери были новые, яркие, расписные: козьи морды с мочальными бородами, медвежьи рыла, птичьи клювы, рогатые, зубастые, смешные. Дальше, вглубь, шли другие. Берестяные, гладкие, с дырками. Липовые, потемневшие. Еще дальше – черные, растрескавшиеся, в которых уже трудно было угадать, кого они изображали.

Под каждым крюком в бревно была врезана зарубка. Иногда две, три. Иногда какой-то знак, вроде буквы.

– Триста лет, – сказал Ефим Лукич. Он сидел на чурбаке у лампы и вошил суконкой длинный деревянный клюв. – По одной в год. Вон оттуда пошло, из того угла. Там первые.

Глеб пошел вдоль стены. Пахло воском, сухим деревом и чем-то еще, чему он не знал названия. Не затхлым. Скорее так пахнет в комнате, где только что было много людей и все разом вышли.

В дальнем углу ряды кончались. Он нашел первый крюк. Самый старый, изъеденный ржавчиной, загнутый вручную.

На нем ничего не висело.

Под крюком, на бревне, было вырезано ножом что-то вроде круга с точкой. И рядом – сучок. Обыкновенный сучок в древесине, темный, круглый, выпавший наполовину.

– А здесь почему пусто?

– А первая личина по свету ходит, – отозвался хозяин, не оборачиваясь. – Ее в клетки не удержишь. Ты не туда глядишь, Глеб Андреевич. Ты сюда гляди. Вот твоя.

Он протянул клюв. Клюв был приделан к легкой липовой маске с круглыми глазницами, выкрашенной в серое. Журавль.

– Примерь.

Глеб взял. Дерево было теплое от рук и гладкое, как кость. Изнутри маска пахла медом.

– Липа, – сказал хозяин, следя за его пальцами. – Только липа. Она легкая и к лицу не липнет, смешно сказать. Режу зимой, сушу год. Изнутри медом с воском прохожу, чтоб дыханием не размочило. Отец мой резал, дед резал, прадед. Харины мы. И от Харитона, и от слова «харя», если не знаешь. Фамилия такая, что и вывески не надо.

– А на продажу делаете? Туристам?

– На продажу – нет. Личина не сувенир. Она под человека режется. Я на тебя с осени глядел.

– Как это – глядели? Мы не встречались.

– А в телевизоре. Мне Таисия Ильинична кассету привозила, с твоим кино. Про больницу. Ты там в конце сам в кадр выходишь и говоришь. Я посмотрел, как ты голову держишь, как шею тянешь. Журавль и есть. Высматриваешь.

Глеб не нашелся что ответить.

– Завтра примеришь, – сказал Ефим Лукич. – Нынче Сочельник, тихий вечер, кутья. Нынче не ходят. А с завтрашней звезды – двенадцать вечеров. Оператору твоему – медведь, вон на лавке. Он мужик плотный, ему пойдет.

– А звукорежиссеру? Нас трое.

Суконка в руке хозяина остановилась. Всего на секунду.

– У ней своя есть, – сказал Ефим Лукич.

– Откуда?

– Оттуда, – он снова принялся воцить. – Ты ступай, Глеб Андреевич. Мне еще одиннадцать штук своим раздать до ужина.

Глеб пошел к двери. Он уже взялся за скобу, когда увидел справа, у самого входа, то, чего не заметил, входя.

Отдельный ряд. Короткий. Двенадцать крюков, и на каждом что-то висело, укрытое куском холстины. Не расписное, не рогатое. Под холстом угадывались плоские, небольшие овалы.

Хозяин сидел к нему спиной.

Глеб не думал. Рука сама поднялась и отвела край холста на последнем крюке, крайнем.

Под холстом было лицо.

Не маска. Он это понял сразу, всем нутром, раньше, чем успел рассмотреть. Маски так не делают. Светлое дерево, липа, но в нем были поры. Была тонкая морщинка между бровями. Были ресницы, каждая отдельно, лежащие на щеках. Женщина. Молодая. Глаза закрыты. Она как будто спала, чуть сжав губы, и левый уголок рта у нее был приподнят, словно ей снилось смешное.

Он ее знал.

Он знал ее так, как знают собственную руку. Сейчас, вот в эту секунду, он вспомнит имя. Оно уже шло, поднималось из живота к горлу.

И не дошло.

Это было как пытаться удержать в горсти воду. Лицо было перед ним, в сорока сантиметрах, он смотрел на него в упор и чувствовал, как оно соскальзывает с глаз. Не расплывается. Просто не держится. Он видел лоб – и уже не помнил, какой подбородок. Переводил взгляд на подбородок – и терял лоб.

– Это не для гостей.

Сухая ладонь легла поверх его руки и опустила холстину. Ефим Лукич стоял рядом. Когда он успел встать и подойти, Глеб не слышал.

– Что это? – Голос у него сел. – Кто это?

– Никто, – Хозяин смотрел на него без улыбки, внимательно, чуть наклонив голову набок. – Лишняя. Ты что-то увидал, Глеб Андреевич?

– Я... – Глеб провел ладонью по лицу. В голове было пусто и звонко. Он стоял в амбаре, перед куском серой ткани, и не мог вспомнить, что под ней. Женщина? Кажется, женщина. Или нет? – Не знаю. Показалось.

– Вот и ладно. Показалось – перекрестись, – Ефим Лукич отворил перед ним дверь. – Ступай. Кутья через час. И журавля своего не забудь, вон он, на чурбаке лежит.

Глава 3. Первый вечер

Сочельник прошел тихо. К столу сели, когда в окне трапезной показалась звезда, и до того никто не притронулся к еде: даже Гоша терпел, только болтал ногами. Ели кутью из одной большой миски, пшеничную, с медом и маком. Сено под скатертью кололо локти. Никодим, грузно поднявшись, прочел что-то вполголоса, быстро, сглатывая концы слов, как человек, который делает это по старой памяти и сам не уверен, вправе ли. Баба Сима перекрестилась. Остальные сидели, глядя в стол.

Глеб в тот вечер не снимал. Его не просили убрать камеру, но он сам чувствовал, что нельзя. Он жевал сладкую кашу и смотрел на двенадцать мисок на шестке. В каждую, прежде чем есть, Степанида положила по ложке кутьи.

Один раз он поднял глаза к окну. За стеклом, в синей тьме, стоял человек. Близко, у самого наличника. Шапка, шарф. Человек не стучал и не просился внутрь. Он смотрел на освещенный стол, как смотрят в витрину.

Глеб привстал. Ульяна, сидевшая напротив, не повернув головы, протянула руку и задернула занавеску.

– Дует, – сказала она.

Седьмого января, в шестом часу вечера, Тимур Хайдаров стоял перед зеркалом в коридоре гостевого дома и разглядывал медвежью морду, которую держал в руках.

– Нет, – говорил он. – Нет, нет и нет. Мне сорок шесть лет. У меня трое детей и высшее образование. Я оператор-постановщик высшей категории. Я не буду ходить по деревне в этом.

– Будешь, – сказал Глеб.

– У меня в ней обзор тридцать градусов. Я видеоискатель не увижу.

– Ефим говорит, прорежи под тебя резал. Примерь.

– Он меня в глаза не видел, когда резал!

– Он тебя по титрам вычислил. «Оператор Т. Хайдаров». Решил, что Хайдаров – это медведь.

– Расист, – сказал Тимур с чувством, повернулся к зеркалу спиной, чтобы не видеть этого позора, и надел.

Морда была бурая, с круглыми ушами и с оскаленной пастью, из которой торчали деревянные зубы. Села она на него как влитая. Тимур повертел головой, поднял к глазам камеру. Опустил.

– Гляди-ка, – пробурчал он из-под дерева уже другим тоном. – Видно. И окуляр встает. Он что, по моему черепу мерил?

– В зеркало в ней нельзя, – сказала Ася.

Она стояла у лестницы, уже одетая. Поверх пуховика на ней был длинный холщовый балахон, подпоясанный веревкой, на голове платок. Шарф, впервые за два дня, был размотан, но Глеб все равно не видел ее лица: она держала у груди свою личину и смотрела вниз, на микрофонные шнуры, которые сматывала на локоть.

– Почему нельзя?

– Потому что в зеркале увидишь не личину, – она не подняла головы. – Так говорят. Снимите, Тимур, пожалуйста. До звезды еще сорок минут.

Тимур снял. Лицо у него было красное, растерянное.

– Странная штука, – сказал он. – Надел – и как-то... Не знаю. Тихо стало. У меня с утра спина ныла и Гуля в голове сидела: я ей вчера не дозвонился, она там, наверное, уже вдова в мыслях. А надел – и отпустило. Вообще все отпустило. Как после ста грамм, только голова ясная.

– Липа, – сказал Глеб. – Медом пропитана. Ароматерапия.

– Ну да. Наверное.

* * *

Весь день они готовились. Глеб расписал съемку по точкам. Тимур работает с рук, идет в гуще, берет крупности: маски, руки, ноги, огонь. Вторую камеру, маленькую, широкоугольную, Глеб с утра прикрутил на жердь у крыльца самой большой избы, Пахомовой, где, по словам Ульяны, бывает главное гулянье. Она смотрела на дверь сверху и сбоку, общим планом. Включится по таймеру и будет писать шесть часов, пока хватит карты.

Про эту вторую камеру он никому не сказал. Ни Ефиму, ни Ульяне. Тимур знал и неодобительно сопел.

– Тебе велели не считать.

– Я и не считаю. Я фиксирую.

– Ты сейчас сказал то же, что тот, с катушками. Мне дед рассказывал.

– Тимур. В семьдесят восьмом году на той пленке девять вошло, десять вышло. Я хочу понять, что это было. Монтажная склейка, пересъемка, чья-то шутка. Или не шутка. Для этого мне нужен один честный статичный план без склеек. Все.

– А если выйдет, что не шутка?

– Тогда у нас будет кино, – сказал Глеб.

Ася расставила четыре микрофона в Пахомовой избе, по углам, под потолком, и увела шнуры в сени, где спрятала за кадушкой цифровой рекордер. «Награ» она собиралась носить на себе.

Теперь она домотала шнур, сунула его в карман балахона и подняла свою личину к лицу.

Глеб увидел ее только сейчас. До этого он не обращал внимания, что она держит: сверток и сверток.

Береста. Светлая, гладкая, без рисунка. Ни рта, ни бровей, ни носа. Две круглые дырки.

Точно такая, как на десятом. На том, который в семьдесят восьмом году вышел из избы последним и поднял руки к краям.

– Откуда у вас это?

– Дали, – она уже завязывала тесемки на затылке. Голос из-под бересты звучал совсем глухо. – Какая есть.

– Ефим сказал, у вас своя.

– Вот это она и есть. У всех... – она запнулась. – У таких, как я, такие.

– У каких – таких?

Она не ответила. За окном, над черной кромкой леса, в зеленом небе проклюнулась первая звезда, и на улице, далеко, тонко, запел рожок.

– Пора, – сказала Ася. – Надевайте, Глеб. И не бойтесь. В первый вечер всегда весело.

* * *

Он надел журавля на крыльце.

Маска легла на лицо, и первое, что он почувствовал, – запах. Мед, воск, теплое дерево. Края пришлись точно по скулам, нигде не жало, словно старик и вправду снимал мерку. Тесемки он завязал на затылке двойным узлом. Клюв качнулся впереди, длинный, в две ладони, и Глеб, повернув голову, едва не задел им косяк: к новому носу еще предстояло привыкнуть. Через круглые глазницы мир стал уже, но резче, словно он смотрел в хороший объектив.

А потом пришло то, о чем говорил Тимур.

Тихо.

Глеб не сразу понял, что именно смолкло. Он стоял на морозе, под звездами, слушал, как скрипят вдалеке шаги и заливается рожок, и чувствовал, что внутри у него чего-то недостает. Какого-то звука. Низкого, ровного, постоянного. Так бывает, когда в квартире выключают холодильник, который гудел годами: гул ты давно перестал замечать, а тишину замечаешь сразу.

Он попробовал подумать о том, о чем обычно думал, оставшись один. О дороге у дачи. О телефоне, прижатом плечом к уху. О Вадике, который в ту минуту говорил ему в трубку про фестивальные квоты.

Мысль пришла. Но пришла, как приходит чужая: он посмотрел на нее со стороны, спокойно, и она отошла.

«Вот оно что, – подумал он. – Вот за чем они сюда едут. За покоем».

Он глубоко вдохнул медовый воздух. Ему было хорошо. Впервые за три с половиной года ему было просто, по-животному хорошо.

– Работаем, – сказал он, и собственный голос, отраженный деревом, показался ему чужим, носовым, птичьим.

Они шли по улице. Из каждого двора выходили. Глеб не узнавал никого и узнавал всех.

Впереди плыла Коза: рогатая, с соломенной бородой, в вывороченном тулупе, с бубном. По стати, по тому, как она несла голову, это могла быть только Ульяна. Она вела. За ней семенил Старик с мочальной бородой до пояса, сухой, быстрый, и постукивал клюкой. Хозяин. Потом валил кто-то огромный в рогоже, с берестяной митрой на голове и с лаптем на веревке вместо кадила, и ревел басом: «Благослови, владыко, пирога великого!» Отец Никодим рядился попом. Глеб под маской усмехнулся.

Барин в цилиндре из картона, с подушкой на животе. Мелкие, торопливые шажки: Аркадий Семенович. Цыганка в цветной шали, с монистом из крышек, и рядом с ней, вприпрыжку, маленький черт в остром колпаке и с мочальным хвостом. Нонна с Гошей. Кобыла: один человек под попоной, с лубяной головой на палке, скалящей зубы. Костя, судя по плечам. Баба, вымазанная сажей, толстая, с ухватом. Бык с настоящими рогами. Горбатая старуха-кикимора, вся в лоскутах, с прялкой. И дед Пахом, которого везли на санках двое: он сидел, завернутый в белое, со свечкой в руках, и изображал, по-видимому, покойника, что в его сто лет было уже не шуткой.

И Смерть.

Она шла отдельно, сбоку, чуть в стороне от света. Белый саван, коса на плече. Личина у нее была простая: выбеленная липа, провалы глазниц, зубы из репы. Она не пела и не плясала. Она просто шла и, как показалось Глебу, все время была повернута к нему.

Регина Павловна Донцова выбрала себе личину сама. Или Ефим Лукич, который глядит на людей и видит, кто они, вырезал ей то, что увидел.

– Коляда! – закричала Коза, и бубен ударил. – Отворяй ворота!

Все подхватили. Голоса были странные, пискливые, квакающие, не свои: у каждого во рту, как объяснила днем Ульяна, была берестяная пищалка, чтобы не узнали по голосу. Глебу тоже дали такую. Он сунул ее за щеку и забыл.

Тимур-Медведь шел рядом, держа камеру у морды, и ругался вполголоса, по-татарски, на то, что мерзнет аккумулятор. Ася двигалась чуть позади. Глеб, оглядываясь, видел светлое пятно ее бересты и вытянутую руку с микрофоном.

Дальше было то, что он потом не мог восстановить по порядку.

Избы. Одна, другая, третья. Жаркие, пахнущие хвоей и пирогами. В каждой на столе стояло угощение, в каждой Коза падала замертво, и ее «лечили», сыпля в бубен пряники и орехи, а она вскакивала и шла плясать. Медведя водили на цепи, и Тимур, ворча, ходил по кругу и кланялся. Поп «отпевал» деда Пахома, махая лаптем, а дед лежал на лавке со свечкой, скрестив руки, и вдруг вскакивал с воплем, и бабы визжали. Кобыла лягалась. Черт носился между ног. Кто-то сунул Глебу в руку стакан. Он выпил, приподняв клюв, и это оказался горячий сбитень с перцем.

В четвертой избе маленький Черт поймал его за полу.

– Дядя Журавль! А ты настоящий режиссер? – пищалку мальчишка держал в кулаке и говорил своим голосом, звонким на всю избу. – А кино про нас будет? А меня там видно будет, что это я?

– Не будет видно. Ты же в личине.

– Жалко. Я бы хотел, чтоб видно. Чтоб Димка Шестаков из моего старого класса посмотрел и обзавидовался, – он подумал. – Только маме не говори. Она говорит, нас никто не должен видеть, а то папа найдет.

– Тс-с! – Цыганка налетела, подхватила его под мышки. Монисто из крышек брякнуло.

– Сколько раз говорено: под личиной молчи!

– Я шепотом!

– Ты на всю деревню шепотом.

Она унесла его в гущу пляски. Глеб проводил их взглядом. «А то папа найдет». Вот, значит, от чего прячется тонкая женщина, которая смотрит на окна.

Он смеялся. Он, Глеб Ратников, который последние годы улыбался только на фестивальных фотографиях, хохотал в голос, когда Барин, наступив на собственную подушку, растянулся на полу, а Кикимора принялась охаживать его прялкой. Он плясал. Он даже пел, не зная слов.

Заходили и в пустые избы. Это его удивило. Нежилые, с заколоченными окнами, промерзшие насквозь. Коза стучала в дверь бубном, кричала: «Дома ли хозяева?» – и, не дождав-шись ответа, входила. Там тоже горела свечка в плошке. Там тоже стояла на столе миска, накры-тая хлебом. Ряженные кланялись в пустой угол, пели коротко, вполголоса и выходили.

– Кому это? – спросил он у Кикиморы, оказавшейся рядом. По шамкающему выговору, пробивавшемуся сквозь пищалку, он признал бабу Симу.

– Своим, батюшка. Своим. Чтоб не обижались. Их тоже Святки.

– Каким своим?

– А ты не спрашивай. Ты пой.

К полуночи пришли в Пахомову избу. Она была самая большая, в два сруба, с горницей, где могли плясать человек тридцать. Глеб, входя, покосился вверх: камера на жерди висела, красный огонек горел. Пишет.

В горнице было тесно, жарко и шумно. Плясали «барыню», потом что-то вроде кадрили, потом встали в круг. Круг пошел посолонь, по солнцу, взявшись за руки. Глеба втянули. Слева его держала за руку Цыганка, справа – чья-то ладонь в вязаной перчатке с обрезанными паль-цами. Он повернул ключ.

Береста. Гладкая. Две дырки.

– Ася?

– Тс-с, – сказала береста. – Не по имени.

Они шли по кругу. Рука в его руке была маленькая, холодная и держалась за него так, как держатся не в хороводе. Крепче. Он, сам не зная почему, сжал ее в ответ. И ладонь дрогнула.

Круг пел что-то протяжное, без слов, на одних гласных. Коза в середине била в бубен, медленно, как сердце. Глеб глядел поверх голов. Напротив, через круг, шла Смерть. Рядом с ней Барин. Рядом Поп. Черт. Кобыла. Баба в саже.

И береста.

Он моргнул. Напротив него, через весь круг, между Быком и Кикиморой, шел человек в светлой гладкой личине с двумя дырками. В длинной рубахе поверх одежды, подпоясанный. Шел, взявшись за руки с соседями, как все.

Глеб скосил глаза вправо. Ася была тут. Он держал ее за руку.

Он посмотрел напротив. Береста была там.

Две.

– Не считайте, – сказала Ася. Она не поворачивала головы, но, видно, почувствовала, как напряглась его рука. – Пожалуйста. Не сейчас.

– Там второй. В такой же, как у вас.

– Я знаю.

– Кто это?

– Вы поете или разговариваете? – пискнула слева Цыганка, и по тому, как дернулась ее ладонь, Глеб понял, что Нонна тоже видит. И боится. – Пойте!

Он запел. Круг шел. Человек в бересте напротив двигался ровно, плавно, чуть запаздывая на каждом шаге, как тот, кто давно не ходил в такт с людьми и отвык.

Хоровод распался. Опять заиграл рожок, опять пошла пляска. Глеб потерял бересту из виду, потом нашел: тот стоял у печи, в углу, под самым потолком которого Ася утром крепила третий микрофон. Стоял тихо, опустив руки. К нему никто не подходил. Его обтекали, как Ульянины глаза позавчера обтекали Асю.

Глеб шагнул туда.

И услышал за спиной, у самого уха, шепот:

– Глеб.

Не писк, не кваканье. Чистый голос, без пищалки. Женский. Тихий и до того знакомый, что у него остановилось сердце.

– Глеб. Обернись.

Он начал поворачиваться. Шея уже пошла, клюв описал четверть круга. В эту секунду его схватили за клюв. Прямо за деревянный клюв, обеими руками, и рванули обратно, так что тесемки врезались в затылок.

– Нет! – Ася стояла перед ним вплотную, береста к липе. Он видел в круглых дырках ее глаза, расширенные, блестящие. – Не оборачивайся! Нельзя! Смотри на меня! На меня смотри!

– Меня позвали.

– Я знаю. Не оборачивайся. Что бы ни сказали. Чьим бы голосом.

– Это был... – он не договорил. Он не знал, чей это был голос. Он знал только, что слышал его тысячу раз, каждое утро, на кухне, и что от него пахло кофе.

За его спиной кто-то негромко, досадливо щелкнул языком. Зашуршало. Когда через минуту Ася отпустила клюв и он все-таки оглянулся, там была только Смерть. Она стояла шагах в пяти, опершись на косу, и смотрела в другую сторону.

– Это она? – спросил он. – Донцова?

– Не знаю. Может, она. Может, не она. Тут голоса носят, как личины. У Ефима Лукича есть манки, он кого хочешь изобразит, – Ася говорила быстро, задыхаясь. – Вы поняли теперь? Это не игра. Обернетесь на свое имя – и все. На Крещение снимете журавля, а под ним ничего.

– Что значит «ничего»?

– То и значит.

Она отступила. Руки ее, только что державшие его за клюв, дрожали так, что это было видно даже в полутьме. Она спрятала их под балахон.

Глеб посмотрел в угол, к печи.

Второй бересты там уже не было.

* * *

Петухи в Студенце были настоящие: у Степаниды в хлеву жил один, злой и голосистый. Он заорал в начале пятого, когда небо на востоке еще и не думало светлеть. Ряженные, кто где стоял, остановились. Коза ударила в бубен три раза. И все, разом, как по команде, подняли руки к лицам.

Глеб снял журавля.

Гул вернулся. Не сразу, а так, как возвращается чувствительность в отсиженную ногу: сперва мурашки, потом боль. Дорога. Телефон. «Глеб Андреич, ты меня слышишь? Квота на док – три картины...» И детский крик за спиной, короткий, оборванный.

Он стиснул зубы и переждал.

Вокруг стояли люди с личинами в руках. Обыкновенные, усталые, с красными от духоты лицами. Нонна обнимала сонного Гошу. Никодим утирал бороду. Аркадий Семенович, отдуваясь, выковыривал из-под свитера подушку. Регина Павловна уже уходила по улице, прямая, с косой на плече, и не оглядывалась.

Берестяных не было. Ни одного, ни другого. Ася исчезла раньше, чем он успел поискать ее глазами.

– Ну, – сказал Тимур. Он стоял рядом, держа медведя под мышкой, мокрый как мышь. – С почином. Я снял четыре часа. Если там хоть половина в фокусе, я себе памятник поставлю. Пойдем глянем?

– Пойдем. Только сначала вон то сниму.

Глеб подтащил к крыльцу чурбак, влез на него и открутил с жерди маленькую камеру. Красный огонек на ней не горел. Карта кончилась или батарея замерзла.

* * *

В комнате он воткнул карту в ноутбук. Тимур сел рядом, с кружкой чая, зевая во весь рот. Файл был один, на пять часов сорок минут. Общий план: крыльцо, дверь, кусок двора. Снег, синий от ночи, желтый от окон. Глеб перемотал на начало двенадцатого.

Вот они входят.

Он нажал на паузу и стал двигать по кадру.

Коза. Старик. Поп. Барин. Цыганка, Черт. Кобыла. Баба в саже. Бык. Кикимора. Санки с покойником и двое, которые их тащат: это были Медведь с Журавлем, он сам и Тимур, их на минуту запрягли. Смерть.

– Четырнадцать личин, – сказал Тимур. – Нет, стой. Пятнадцать. Вон она, твоя Ася, сзади, в бересте, с удочкой.

– Пятнадцать, – Глеб записал на бумажке. – Жителей двенадцать. Мы с тобой – четырнадцать. Ася – пятнадцать. Сходится.

– Ну и слава богу. А ты боялся.

– Теперь выход.

Он перемотал на четыре двенадцать. Дверь отворилась. Повалил пар.

Они выходили не толпой, как входили, а по одному, по двое, останавливаясь на крыльце. Это было удобно. Глеб ставил галочки.

Коза. Старик. Барин под руку с Попом. Цыганка несет Черта. Кобыла. Бык. Баба в саже. Кикимора. Покойника выводят под руки, он идет сам. Медведь с камерой. Журавль. Смерть.

Береста. Маленькая, с удочкой. Ася.

Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать.

Дверь осталась открытой. Из нее шел свет.

И вышел еще один.

Тимур поставил кружку на стол. Очень аккуратно, как ставят что-то хрупкое.

Человек в гладкой светлой личине спустился с крыльца. Он был выше Аси, шире в плечах. Длинная рубаха, веревка вместо пояса. Он постоял внизу, один, в пустом дворе: все остальные уже ушли за кадр, на улицу, где прокричал петух.

– Шестнадцать, – сказал Глеб. В горле было сухо.

– Может, это кто-то из них вернулся? Переоделся и вышел второй раз?

– Кто? Все пятнадцать на улице. Ты сам себя видел, ты там стоишь с камерой.

– Тогда кто это?

Человек на экране повернулся. Не к улице. К жерди. К камере, которая висела над ним и про которую не знал никто, кроме двоих.

Он поднял голову. Две круглые дырки смотрели прямо в объектив.

– Он нас видит, – прошептал Тимур. – Глеб, он на нас смотрит.

– Это запись. Трехчасовой давности.

– Я знаю, что запись! Он смотрит!

Человек поднял руки. Обе. Медленно, как поднимают, сдаваясь. Взялся пальцами за края бересты.

– Не надо, – сказал Тимур. – Выключи. Выключи, я не хочу.

Глеб не выключил.

Береста пошла вверх. Показался подбородок. Обыкновенный человеческий подбородок, небритый. Губы. Потом...

Экран стал белым. Не серым, не в помехах. Ровное белое поле, как на засвеченной пленке. Счетчик времени внизу продолжал бежать. Шесть секунд. Семь. Потом картинка вернулась: пустой двор, открытая дверь, свет на снегу.

Никого.

Глеб отмотал назад. Пустил снова. Подбородок, губы – белое. Он попробовал покадрово. Двадцать пять кадров в секунду: на двадцать четвертом еще береста, на двадцать пятом белое. Между ними ничего.

– Матрица, – сказал он. Голос был чужой. – Пересвет. Он чем-то блеснул. Фонариком.

– Чем он блеснул? У него руки пустые.

– Тимур, я не знаю!

– А я знаю, – Тимур отодвинулся от стола вместе со стулом. – Я тебе скажу, что я знаю. Я эту пленку семьдесят восьмого года видел. Ты мне ее показывал, когда уговаривал. Там тот же кадр. Один в один. Выходит последним, встает, поднимает руки – и засветка. Только там «Красногорск» и шестнадцать миллиметров, а тут цифра за сорок тысяч. Разная техника, сорок восемь лет разницы, а брак одинаковый. Так не бывает, Глеб.

– Значит, не брак.

– Значит, не брак, – он помолчал. – И ты сейчас сидишь и думаешь: какой материал. Я же вижу. У тебя глаз загорелся. Тебе страшно, а глаз горит.

Глеб не стал отпираться. Тимур знал его двенадцать лет.

– Это лучшее, что мы снимали, – сказал он. – Ты сам понимаешь. Это не этнография. Это бомба.

– Бомба. Ага. Тот, с катушками, тоже, наверное, так думал.

Они сидели молча. За окном синело. Внизу, на кухне, Степанида гремела заслонкой.

В дверь постучали. Тихо, одним пальцем.

Ася вошла боком, не раздеваясь. Шарф опять был на месте, до глаз. В руках она держала «Нагру» и наушники, большие, старые, с проволочным оголовьем.

– Вы посмотрели, – сказала она. Не спросила.

– Посмотрели.

– Шестнадцать?

– Шестнадцать. Ася, кто он?

Она покачала головой. Поставила магнитофон на стол, рядом с ноутбуком. Щелкнула тумблером. Бобины дрогнули и пошли.

– Послушайте. Это третий микрофон. Тот, что у печи. Я его с цифры перегнала, чтоб на одной ленте.

Глеб надел наушники.

Сначала был шум. Топот, бубен, писк, хохот. Плотная, жаркая каша, какую и ожидаешь от тридцати человек в одной избе. Он узнал свой собственный смех и поморщился.

– Не то, – сказала Ася. Она стояла над ним и смотрела на стрелку индикатора. – Глубже слушайте. Под всем этим. Близко к микрофону.

Он прикрыл глаза. Вслушался так, как она когда-то... как когда-то его учили слушать.

Под шумом было дыхание.

Ровное. Очень близкое, в пяти сантиметрах от капсуля. Вдох – пауза. Выдох – пауза. Кто-то стоял в углу у печи, вплотную к микрофону, и дышал. Тихо, терпеливо, как дышит человек, который ждет и привык ждать.

А потом, на выдохе, шепот. Одно слово. Его перекрыло бубном, и Глеб отмотал назад, послушал еще раз, прижав ладони к наушникам.

Мужской голос. Немолодой, хрипловатый. Он сказал: «Здесь».

И через несколько секунд снова, чуть громче, с какой-то робкой надеждой, как говорят в темной комнате, не зная, есть ли кто: «Я здесь. Я еще здесь».

Глеб стащил наушники.

– Вы это слышали вживую? Когда стояли там?

– Нет. Вживую их не слышно. Только на ленте, – Ася выключила магнитофон. – Он первый. Завтра придет второй. Послезавтра третий. Каждый вечер по одному, двенадцать вечеров.

– Кто «они»?

– Я не могу сказать, – в ее голосе было отчаяние, настоящее, с которым не спорят. – Глеб, я правда не могу. У меня слова не идут. Я начинаю, а там пусто. Вы должны сами. Вы умеете, вы всю жизнь это делаете: смотрите на людей и видите, кто они.

– Я, – сказал Глеб. – Последнее время не уверен, что умею.

Тимур встал. Подошел к окну. Постоял, глядя на улицу, где в рассветной мгле уже чернела расчищенная кем-то дорожка.

– Двенадцать вечеров, – произнес он, не оборачиваясь. – Нас четырнадцать живых. Пятнадцать с тобой, дочка. И каждую ночь плюс один. Я правильно считаю?

– Не считайте, – попросила Ася.

– Поздно. Я уже, – он повернулся. Лицо у него было серое. – Глеб. Я хочу домой.

Глава 4. Лишний кадр

В то утро, когда Глеб, не раздеваясь, уснул над ноутбуком, оператор Тимур Хайдаров принял решение. Решение было простое и окончательное, как диагноз. Он уезжает. Сегодня. С камерой, со штативом, с неснятым фильмом и с неполученным двойным гонораром. Пусть Глеб остается и снимает на телефон, если ему охота. Пусть судится. Пусть рассказывает на всех фестивалях, что Хайдаров сбежал со съемок. У Хайдарова трое детей, и младшей пять лет.

Он умылся ледяной водой, надел свитер, который связала теща, и пошел искать хозяина.

Утро было белое, морозное, с розовой полосой над лесом. Дорожки, как и вчера, оказались расчищены до наста, и по обеим сторонам стояли ровные снежные стенки в пояс высотой. Тимур шел между ними и старался не думать, кто их вырезал. У каждого крыльца лежала охапка свежесколотых дров. У колодца стояли полные ведра, затянутые ледком.

«Трудолюбивый народ», – вспомнил он собственные позавчерашние слова, и его перевернуло.

Ефим Лукич был в мастерской. Он сидел на низкой скамейке, зажав между колен липовый чурбак, и снимал с него стружку длинным кривым ножом. Стружка шла тонкая, как бумага, и свивалась кольцами на полу.

– А, медведь наш! – он поднял голову и улыбнулся так, что Тимур, собравшемуся ругаться, стало неловко. – Заходи, садись. Не замерз ночью? Как личина, не терла?

– Не терла. Ефим Лукич, я по делу. Мне надо позвонить. Говорят, у вас есть спутниковый.

– Есть. Вон на полке. Звони, сколько надо, у меня безлимит, район оплачивает. Жене?

– Жене. И водителю. Космонавту.

– Валере-то зачем?

– Чтоб приехал. Я домой еду.

Нож остановился. Хозяин посмотрел на Тимура светлыми глазами, без обиды, с участием, как смотрит врач на больного, который просит выписать его под расписку.

– Не понравилось у нас?

– Понравилось. Пирог хорошие, – Тимур сел на чурбак, потому что стоять над сидящим стариком было глупо. – Я, Ефим Лукич, человек простой. Я тридцать лет в кино. Я на войне снимал, в шахте снимал, роды снимал и вскрытие. Я не из пугливых. Но я вчера ночью видел на записи человека, которого не должно быть. И слышал на пленке, как он дышит. И мне этого хватило. У меня семья.

– Шестнадцатого видал, – сказал хозяин. Не спросил, а подтвердил.

– Видал.

– Сосчитали, значит. Я ведь просил.

– Это не я. Это режиссер у нас любознательный.

– Режиссер, – Ефим Лукич вздохнул, отложил нож. – Ну, слушай. Позвонить – звони. А уехать я тебе не помогу, и не потому, что не хочу. Зимник вчера в ночь перемело, от Гнилой пади до самого грейдера. Космонавт на своем «пазике» не пройдет. Тут трактор нужен, а трактор лесхозовский придет, дай бог, к Крещенью. Это раз.

– А два?

– А два – ты личину надел.

– И что?

– А то, что надел в первый вечер – носи все двенадцать. Таков порядок. Она тебя спрятала. Ты сам вчера почуял, я видел, как у тебя плечи опустились. От чего спрятала – это тебе знать, не мне. Только если теперь бросишь, не доносив, оно тебя найдет разом. Не через год, не через месяц. На первой же версте, – он говорил мягко, почти ласково. – Был у нас один такой,

лет восемь назад. Коммерсант из Перми. На третий вечер напугался, сел на снегоход и уехал. В лесу нашли. Сердце. А ему сорок лет было, здоровый, как ты.

Тимур молчал. Под свитером, слева, там, где у него иногда по ночам сжимало, стало холодно.

– Вы мне угрожаете?

– Упаси Господь. Я тебе рассказываю, как тут заведено. Не я завел, мне от деда досталось, – Ефим Лукич опять взялся за нож. – А ты мне вот что скажи, Тимур, раз уж сидим. У тебя-то что за беда? Режиссера твоего я вижу, там все на лбу написано. А ты мужик справный, семейный, спокойный. От чего тебя вчера так отпустило?

– Ни от чего.

– Ну, ни от чего так ни от чего.

* * *

Телефон был тяжелый, с толстой антенной. Тимур вышел с ним на крыльцо, набрал номер, который помнил лучше собственного. Долго слушал треск. Потом щелкнуло.

– Тимур?! – Гуля кричала так, будто он звонил с того света. – Ты живой? Ты почему трое суток недоступен? Я в ваш район звонила, мне какая-то баба сказала: не волнуйтесь, они на месте. А я волнуюсь! У Алсу температура тридцать восемь, у Рената тренер спрашивает, когда отец придет, мама моя приехала и говорит, что ты нас бросил!

– Гуля. Гуль. Я не бросил. Тут связи нет, я с чужого телефона.

– С какого чужого? Чей это номер? Там женщины есть?

– Есть. Одной сто лет, другой восемьдесят.

– А третьей?

Он засмеялся. Впервые за сутки. Голос жены, сердитый, родной, пробивался сквозь космос и помехи, и от этого голоса Студенец со всеми его берестяными харями делался маленьким и нестрашным.

– Третьей нет, – сказал он. – Гуль, ты Алсу нурофен дай и горло посмотри. Ренату скажи, что отец снимает кино про медведей. Маме привет.

– Ты когда вернешься?

– Девятнадцатого. Раньше дороги нет.

– Тимур, – она вдруг заговорила тише. – Тут тебе письмо пришло. Заказное. Из клиники. Второй раз уже, первое ты, оказывается, сам получил и ничего мне не сказал. Мне почтальонша проболталась. Что за письмо?

Холод под свитером стал льдом.

– Ерунда. Диспансеризация.

– Из онкоцентра – диспансеризация?

– Там просто лаборатория хорошая. Гуль, не открывай.

– Почему?

– Не открывай. Приеду – сам. Обещай.

– Тимур, что происходит? Ты мне скажи. Я жена тебе или кто?

– Обещай.

Она помолчала. В трубке шуршало.

– Обещаю, – сказала она. – Но ты, Хайдаров, имей в виду. Я не дура. Я двадцать лет с тобой живу. Если ты там сидишь в лесу и от чего-то прячешься, то я тебя все равно найду.

Связь оборвалась. Тимур стоял на крыльце с чужим телефоном в руке и смотрел на озеро.

* * *

Первое письмо лежало у него в кофре, под запасным аккумулятором. Белый конверт с синим логотипом. Он получил его двадцать шестого декабря, расписался, сунул в карман и с тех пор не вскрывал. Биопсию он сдал в начале месяца, тайком от Гули: отпросился якобы на склейку. Врач, молодой, вежливый, сказал: «Скорее всего, ничего страшного. Но давайте

исключим». Тимур решил, что откроет после Нового года. Потом – после съемок. Потом понял, что не откроет вообще, пока его не заставят.

А вчера вечером надел медвежью морду, и конверт в кофре перестал существовать. Просто перестал. Он плясал, снимал, ругал аккумулятор и ни разу о нем не вспомнил.

«От чего тебя вчера так отпустило?»

Он вернул телефон. Ефим Лукич взял, не глядя, кивнул.

– Остаешься?

– Остаюсь, – сказал Тимур. – До девятнадцатого.

* * *

Раз уж остался, надо было работать. Тимур не умел сидеть без дела: от безделья начинал думать, а думать ему сейчас было вредно.

Глеб спал. Ася, как выяснилось, тоже куда-то пропала. Он взял камеру, легкий штатив и пошел по дворам один. Дневные интервью с коренными им разрешили.

Баба Сима жила в третьей избе от края. Домик у нее был маленький, в два окна, чистый, как шкатулка. Половики, герань, ходики с гирей. Она обрадовалась ему, как родному, усадила, выставила на стол шаньги.

– Ты ешь, ешь. Ты татарин? У меня Витя в армии с татаринком дружил, с Ильдаром. Писал: мама, такой парень хороший, в гости звал, в Казань.

– Я из Казани и есть.

– Вот видишь! – Она засияла. – Может, знаешь его? Ильдар, фамилию не помню. Высокий такой.

– Казань большая, баб Сим.

– Это да. Это конечно.

Он поставил камеру. Она сидела перед ним, сложив на коленях маленькие руки, и рассказывала. Про Святки при отце. Про то, как девками гадали на суженого и ей выпал Петр, а вышла за Николая, тоже Рогова: у них тогда полдеревни Роговых было. Про колхоз. Говорила она хорошо, певуче, и Тимур, глядя в видоискатель, радовался: лицо в морщинках, глаза живые, свет из окна боковой. Портрет.

На комод за ее спиной стояла фотография. Он заметил ее, когда правил кадр. Цветная, выгоревшая до желтизны. Молодой парень в панаме и в выцветшей форме, с автоматом на груди, щурится от солнца. За ним какие-то горы.

– Сын?

– Сын. Витенька, – баба Сима обернулась, поправила карточку. – Служит.

– Давно?

– С восемьдесят шестого. В мае призвали. Сперва в Термезе был, учебка, а после туда. – Она махнула рукой куда-то на юг. – Писал часто. Последнее письмо в феврале пришло, в восемьдесят седьмом. Пишет: мама, не волнуйся, у нас тут тепло, абрикосы цветут. А после замолчал. Некогда, поди. Служба.

Тимур медленно опустил руку с камерой.

Восемьдесят седьмой. Тридцать девять лет.

– Баб Сим, – сказал он осторожно. – А вам... не сообщали ничего? Из военкомата?

– ПриносилиЮ – она кивнула спокойно. – В марте. Почтальонша была у нас, Клава, из Гнилой пади ходила. Пришла под вечер, аккурат на Благовещение. Лицо белое. Стоит в дверях, конверт держит казенный, с печатью, и молчит. А я, милый, ряженная была.

– На Благовещение? Какое же ряжение в марте?

– А я с самых Святков не снимала. По ночам. Мне Харин, Лука еще, Ефимов отец, сказал: Серафима, сын у тебя на войне, ты личину-то побереги, надевай, как стемнеет, мало ли. Я и надевала. Сижу вечерами в кикиморе, вяжу, – она улыбнулась. – Клава вошла, глядит на

меня и не признает. Спрашивает: тут Серафима Игнатьевна Рогова проживает? Я молчу. Она постояла, постояла. Положила конверт на стол и ушла. Будто не ко мне.

– И вы его...

– А вон он.

Она встала, подошла к божнице. Там, за темной иконой Николы, торчал уголок серой бумаги. Баба Сима вытянула конверт двумя пальцами. Он был плотный, пожелтевший, с лиловым штампом войсковой части.

Нераспечатанный.

– Тридцать девять лет лежит, – сказала она. – Я не открывала. Зачем? Пока не открыла – он служит. Пока я не знаю, беда меня не знает. Я каждые Святки личину надеваю, двенадцать вечеров, как положено. И он у меня живой. Я ему носки вяжу, посылаю с Валерой. На полевую почту, номер старый.

– Доходят?

– Назад не ворочаются, – ответила баба Сима. – Значит, доходят.

Она убрала конверт за икону. Села, расправила на коленях передник.

Тимур сидел перед ней и не мог сглотнуть. У него в кофре, под аккумулятором, лежал белый конверт с синим логотипом. Он думал, что он один такой умный.

– Ты чего, милый? – баба Сима всматривалась в него. – Побелел весь. Шаньгу-то съешь. Или у тебя тоже кто служит?

– Нет. У меня... – он встал, свернул штатив. Руки плохо слушались. – Спасибо, баб Сим. Я потом еще зайду.

* * *

Асю он нашел у ключа. Она сидела на обледенелом срубе, свесив ноги в валенках, и записала воду. Микрофон на удочке висел над черной полыньей, от которой шел пар. «Награ» стояла рядом, на бревне, бобины медленно вращались.

Тимур подошел сзади и остановился. Он смотрел на ее спину. Зеленый пуховик, шапка, шарф. Узкие плечи. Она сидела, чуть склонив голову набок, слушая, и что-то в этом наклоне было такое знакомое, что у него заныло в затылке.

Он знал эту спину. Он был уверен, что знал. Он много раз видел ее вот так: на корточках, у стены, с наушниками, голова набок. И кто-то рядом говорил... Что говорил? Кто?

Мысль была как рыба в мутной воде: мелькнет бок – и нету.

– Ася.

Она обернулась. Сняла один наушник.

– Тимур Ринатович. Тише, пишу.

– Откуда ты знаешь мое отчество?

– В титрах прочла.

– В титрах отчеств не пишут.

Она ничего не ответила. Выключила магнитофон, стала сматывать шнур. Правая рука, большой и указательный: шур-шур-шур.

Тимур присел рядом на бревно. Снял с плеча камеру, поставил на колени.

– Слушай, дочка. Я человек прямой. Я вчера всю ночь снимал и сегодня с утра отсмотрел. Четыре часа материала. Ты там есть. Везде есть: то рука с удочкой, то спина, то балахон. А лица твоего нет. Ни в одном кадре. Я сначала решил: случайность, ты за камерой стоишь, в кадр не лезешь, правильно делаешь. А потом вспомнил, что я тебя и без камеры не вижу. Ты четвертый день в шарфе.

– Холодно.

– В избе тоже холодно?

Она молчала.

– Я хочу снять группу, – сказал Тимур. – На память. Как положено: режиссер, оператор, звук. Глеба я потом подставлю. Сначала тебя. Размотай шарф и посмотри в объектив. Десять секунд.

– Не надо, Тимур Ринатович.

– Почему?

– Потому что ничего не выйдет. И вы расстроитесь.

– Я оператор-постановщик высшей категории. У меня выходит все.

Она долго сидела неподвижно. Потом подняла руки, обе, в перчатках с обрезанными пальцами, и стала разматывать шарф. Виток. Еще виток. Стянула шапку. Волосы у нее были темные, собранные на затылке, и заколоты они были карандашом. Простым, желтым, обгрызенным с конца.

Тимур поднял камеру.

В видеоискателе было лицо. Нормальное человеческое лицо, женское, молодое еще, худое. Он видел его совершенно ясно. Милое, подумал он. Усталое. Глаза... Он хотел отметить, какие глаза, и не отметил. Нос... Какой нос?

Он нажал запись. Камера у него была хорошая, умная, с системой, которая сама находит в кадре лицо и держит на нем фокус. Когда она ловила человека, в видеоискателе вокруг головы загорался тонкий белый квадратик. На Глебе он загорался всегда. На бабе Симе час назад горел как приклеенный.

Квадратика не было.

Объектив ездил. Тимур слышал, как жужжит моторчик: вперед, назад, вперед. Камера искала, за что зацепиться, и не находила. Фокус уходил на сруб за Асиной спиной, на пар над водой, на дальний берег. Только не на нее.

Он перешел на ручной. Навел сам, по глазам, как наводил тридцать лет. Резко. Точно резко, он это видел.

Десять секунд. Он остановил запись и отмотал.

На экранчике был сруб. Пар. Зеленый пуховик, темные волосы, карандаш в волосах. А между воротником и волосами – мягкое светлое пятно. Не размытое, как бывает при промахе фокуса. Гладкое. Как будто кто-то провел по еще сырой краске ладонью.

– Я говорила, – сказала Ася.

Тимур поднял на нее глаза. Она сидела в полуметре от него. Он смотрел на нее в упор, без всякой камеры, при дневном свете.

И понял, что не может сказать, какое у нее лицо.

Оно было. Оно, несомненно, было: вот щека, вот подбородок. Но стоило ему перевести взгляд со щеки на подбородок, как щека пропадала из памяти. Он не мог сложить их вместе. Он, который с одного взгляда запоминал любого человека так, что через десять лет узнавал на улице.

– Ты кто? – спросил он. Шепотом.

Губы у нее задвигались. Она говорила. Он видел, что говорит, старательно, отдельно, наклонившись к нему.

Он не слышал ничего. То есть слышал: шум. Ровный, пустой, как в приложенной к уху раковине. Шум стоял ровно столько, сколько двигались ее губы, и смолк, когда она их сжала.

– Еще раз, – сказал он.

Она попробовала еще раз. Шум.

Тогда она схватила с бревна палочку, какой-то сучок, и стала чертить на снегу у его ног. Быстро, с нажимом, левой рукой. Буквы. Он видел, что это буквы, пять или шесть. Она дописала, откинулась и посмотрела на него с такой надеждой, что ему стало больно.

Он глядел на снег. Там были черточки. Палочки, кружок, опять палочки. Он знал, что это должно что-то значить. Он умел читать на трех языках. Но черточки не складывались. Они лежали на снегу каждая сама по себе, как рассыпанные спички.

– Не могу, – сказал он. – Я не могу прочесть. Что со мной?

– Не с вами, – это он услышал. Голос у нее был сорванный. – Со мной. Я не могу назваться. Никак. Ни сказать, ни написать, ни показать. У меня и вещи ни одной с именем не осталось. Я год пробую.

Она заплакала. Без звука, одними плечами. Плечи мелко тряслись под зеленым пуховиком, а лица, которое плакало, он не видел, хотя оно было перед ним.

Тимур Хайдаров был отцом троих детей. У него сработало раньше, чем он успел подумать. Он полез в карман, достал платок, большой, клетчатый, Гулей глаженный, и сунул ей в руку. Потом обнял ее за плечи, неуклюже, поверх пуховика.

– Ну, ну, – сказал он. – Ну, все. Не реви. Разберемся.

– Вы у нас... – она всхлипнула в платок. Дальше опять пошел шум, длинный, на целую фразу. Потом, сквозь шум, прорвалось одно слово: – ...плов.

– Плов?

Она закивала. Яростно, обеими руками прижимая платок к пятну, которое было у нее вместо лица.

Плов. Он варил плов. Он варил его много раз, на всех съемочных шапках, на днях рождения, на...

Рыба в мутной воде опять показала бок. Казан. Большой, на двадцать человек, взятый напрокат. Двор какого-то дома, лето. Он стоит над казаном в фартуке, а кто-то смеется, беззвучно, одними плечами, и подставляет тарелку. Белое платье. Фата, закинута на спину, чтоб не макнуть в зирвак.

Чья-то свадьба.

Чья?

Нету. Ушло.

– Я тебя знаю, – сказал Тимур. – Я тебя откуда-то знаю. Вот убей, не вспомню. Но знаю.

Она отняла платок. Он увидел, что она улыбается, хотя и не смог бы описать эту улыбку.

– Это уже много, – сказала она. – Вы даже не представляете, как это много. Меня тут год никто не знает.

* * *

Глебу он рассказал не все. Про камеру, которая не видит лица, рассказал, и показал запись. Про шум вместо слов – тоже. Про плов и про платок промолчал. Сам не понял почему. Может быть, потому, что Глеб, слушая, уже прикидывал: это в фильм, это тоже в фильм, а вот это дадим под финал. У Тимура за двенадцать лет выработалось правило: когда у режиссера так блестят глаза, самое дорогое лучше придержать.

– Она одна из них, – сказал Глеб. – Из тех, в бересте. Шестнадцатый и она – одно и то же. Только она почему-то ходит днем и разговаривает.

– Она с нами ехала в автобусе. Живая, теплая. Я ее за плечи держал.

– Космонавт ее не сразу заметил. Ульяна на нее не смотрит. Мальчишка сказал: она в бане жила.

– И что это значит?

– Не знаю. Узнаем, – Глеб потер руки. – Сегодня второй вечер. Смотри в оба.

Второй вечер был как первый, только Тимуру уже не было весело. Он надел медведя на крыльце, как положено, с первой звездой. И опять стало тихо: конверт исчез, Гулин голос исчез, даже страх притупился. Он за это себя презирал. И был благодарен.

Ходили по тем же избам. Пели то же. Тимур снимал и, сам того не желая, считал. Он не мог не считать: глаз, тридцать лет привыкший держать в кадре всех, делал это без спроса.

Четырнадцать. Асина береста – пятнадцать.

Вторая береста. Высокий, широкоплечий, вчерашний. Шестнадцать.

И третья.

Она появилась в Симиной избе, когда водили хоровод. Маленькая, сутулая, по фигуре женщина, немолодая. Стояла в сенях, в темноте, и не решалась войти. Потом вошла. Встала в круг между Быком и Бариним. Барин, Аркадий Семенович, дернулся было в сторону, но Бык крепко взял его за локоть, и круг сомкнулся.

Семнадцать.

К полуночи пришли к Пахому. Тут, в большой горнице, затеяли игру, которой вчера не было. Коза ударила в бубен и закричала пискляво:

– Покойника несут! Покойника! Девки, готовь губы!

Все загалдели, засмеялись. Тимур знал от Ульяны, что это такое: старинная святочная забава, «умрун». Вносят на доске ряженого мертвецом, под простыней, ставят посреди избы, отпевают, как на похоронах, с воем и с шутками. А потом каждая девка должна подойти и поцеловать покойника в губы. Он лежит-лежит, да вдруг как вскочит. Визг, хохот. Покойником второй день был дед Пахом, ему и рядиться особо не надо.

Тимур навел камеру на дверь.

Внесли. Четверо: Поп, Кобыла, Бык и Старик. Доска широкая, от старых полатей. На доске длинное тело под белой холстиной, руки сложены, в руках свечка.

Длинное.

Дед Пахом был маленький, сухой, как сверчок. А тут ноги свешивались с края доски.

Тимур оторвался от окуляра. У печи, на своей лавке, завернутый в белое, сидел дед Пахом. Сидел и смотрел на доску, приоткрыв под личиной рот.

– Упокой, Господи, раба твоего! – затянул было Поп густым басом. И осекся. Он тоже увидел деда на лавке.

В горнице сделалось тихо. Бубен смолк. Четверо стояли, держа доску, и Тимур видел, как у Кобылы, у Кости, дрожат под попоной руки.

Старик с мочальной бородой, хозяин, опомнился первым.

– Ну чего встали? – пискнул он через пищалку. – Ставь! Отпевай! Девки, целуй! Порядок есть порядок!

– Ефим... – начал Поп своим голосом.

– Не по имени! Отпевай, говорю!

Доску поставили на две лавки. Коза, Ульяна, шагнула к ней. Тимур вел ее камерой и видел, как она идет: спина прямая, а шаг деревянный. Она нагнулась над белой холстиной. Взялась за край. Постояла.

Сдернула.

Под холстиной лежал человек в бересте. Гладкой, светлой, с двумя дырками. Он лежал очень тихо, вытянувшись, и держал свечку обеими руками. Третий. Или второй. Или еще какой-то, четвертый, которого Тимур сосчитать не успел.

Он не вскочил, как положено умруну. Он медленно повернул бересту к Козе и чуть приподнял голову. Подставил. Как подставляют щеку.

Он ждал, что его поцелуют.

Ульяна стояла над ним. Ее рогатая личина ничего не выражала, но руки, державшие холстину, побелели на костяшках.

– Тетя Коза! – зазвенел на всю горницу детский голос. Маленький Черт, вырвавшись от матери, тыкал пальцем. – Это же дядя, который дрова колет! Он у бабы Симы колет и у нас! Я его знаю! Поцелуй его, ему же обидно!

– Молчи!!!

Цыганка сгребла мальчишку в охапку. А Коза, не говоря ни слова, набросила холстину обратно. На бересту, на свечку, на сложенные руки. Расправила, как расправляют покрывало на пустой кровати.

– Нету тут никого, – сказала она громко, звонко, своим голосом, без пищалки. – Пустая доска. Пошутили – и будет. Уносите. «Барыню» давай!

Рожок заиграл. Сначала неуверенно, потом громче. Доску подняли и вынесли в сени. Под холстиной, Тимур видел, тело не шевелилось.

Он опустил камеру. Его мутило.

Рядом стояла Ася. Она смотрела на дверь, в которую унесли доску.

– Они всегда так, – сказала она тихо. – Каждый год. Он ведь только раз в году может к ним подойти. Только в личине, только в эти ночи. А они набрасывают холстину и говорят: пустая доска.

* * *

Петух прокричал, когда в окнах еще стояла темень. Тимур снял медведя и поднялся к себе. Глеб остался внизу, скачивать карты.

Конверт вернулся сразу, как только дерево отошло от лица. И с ним все остальное: онко-центр, Гулин голос, младшая с температурой. Он сел на кровать и сидел, держа морду на коленях.

Потом достал конверт. Положил рядом.

Плотная бумага. Синий логотип. Клапан заклеен.

«Пока не открыла – он служит».

Тимур представил себе, как проживет так тридцать девять лет. Как будет каждые Святки приезжать сюда, надевать медведя и двенадцать ночей не помнить. А конверт будет лежать за иконой. За какой иконой, у него и иконы-то нет. В кофре. И Гуля будет спрашивать, и он будет говорить: диспансеризация.

Пальцы сами нашли край клапана.

И остановились.

Нет. Не сейчас. Сейчас он устал, не спал две ночи, посмотрелся черт знает чего. Сейчас нельзя. Вот выпится...

Он взял медведя. Просто поддержать. Дерево было еще теплое. Изнутри пахло медом.

Он не собирался надевать. Петухи пропели, уговор: от звезды до петухов. Он только приложил. На секунду. Чтоб отпустило, чтоб уснуть.

Тихо.

Тимур выдохнул. Поднял голову.

Напротив кровати, на стене, висело зеркало. Небольшое, в деревянной раме. Он про него забыл.

В зеркале сидел на кровати человек. Без всякой медвежьей морды. Тимур видел его лицо совершенно отчетливо, и это было его собственное лицо, только другое. Желтое. Обтянутое. Без бровей и без волос. Глаза огромные, как у ребенка. Из ворота больничной рубахи в горошек торчала тонкая шея. В вену на руке шла прозрачная трубка.

Человек в зеркале посмотрел на него. Узнал. И улыбнулся, виновато, как улыбаются тому, кого долго ждали и уже не надеялись.

Тимур сорвал личину так, что лопнула тесемка.

В зеркале был он. Потный, небритый, с красной полосой на лбу. Сорок шесть лет, восемьдесят четыре килограмма. Живой.

В дверь стукнули. Одним пальцем.

– Тимур Ринатович, – Асин голос, глухой, из-под шарфа. – Вы в зеркало смотрели?

Он не мог ответить. У него стучали зубы.

– Не надо было. В личине нельзя в зеркало. Вы в нем не себя видите. Вы видите то, от чего спрятались. А оно видит вас, – она помолчала за дверью. – Оно теперь знает, что вы здесь.

Глава 5. «Не окликай»

Аркадия Семеновича Глеб подкараулил в бане.

Не в парной, конечно. В предбаннике, просторном, обшитом осиной, с лавками вдоль стен и с самоваром на столе. Было девятое января, день, часа три. Мужская очередь, как объяснила Ульяна, по нечетным. Аркадий Семенович сидел на лавке, завернутый в простыню, распаренный, розовый, похожий на большого младенца, и пил из кружки что-то, что пахло отнюдь не чаем.

Увидев Глеба, он поперхнулся и прикрыл кружку ладонью.

– Я без камеры, – сказал Глеб. Он показал пустые руки и тоже сел, через стол. – Просто попариться. Можно?

– Баня общая, – Аркадий Семенович отодвинулся. – Только я с вами разговаривать не обязан. И не буду.

– И не надо. Посидим молча.

Они посидели. Самовар посвистывал. За дощатой стеной, в парной, кто-то охал и хлестался веником: по басовитому «о-ох, грехи наши» Глеб узнал Никодима.

– Коньяк? – спросил он, кивнув на кружку.

– А вам что за дело?

– Никакого. Я бы тоже не отказался. Третью ночь не сплю.

Аркадий Семенович посопел. Потом, поколебавшись, достал из-под лавки плоскую бутылку и плеснул во вторую кружку. Движение было привычное, компанейское. Глеб таких людей знал. Они могут молчать под пыткой, но совершенно не выносят пить в одиночку.

– Армянский, – сказал Аркадий Семенович. – Пятнадцать лет. Мне Космонавт возит, по пять бутылок в рейс. Единственная радость.

– Давно вы здесь?

– Я же сказал: не буду.

– Я не для фильма. Я для себя. Мне Ефим Лукич объяснил: лица не снимать. Я не снимаю. Но мне же надо понимать, куда я попал. Я надел эту штуку. Журавля. И мне вторую ночь подряд так хорошо, как не было много лет. А утром снимаю – и хоть в петлю. Вы это знаете?

– Знаю, – Аркадий Семенович вздохнул и вдруг обмяк, как обмякает человек, уставший держать оборону. – Еще бы я не знал. Третий год.

– Третий год – здесь?

– Здесь. Безвылазно почти. В Усть-Лихву раз в полгода, к зубному, – он отхлебнул. – Вы, наверное, думаете, что я жулик. Все так думают. Финансовый директор, строительный холдинг, обманутые дольщики. По телевизору показывали. Вы не снимали, нет? Слава богу. А я не жулик, Глеб Андреевич. Я подписывал, что давали. Мне генеральный клал бумагу – я ставил визу. Генеральный сейчас в Дубае, у него вилла. А на бумагах моя подпись. Восемь лет общего режима, если по полной.

– И вас не нашли.

– В том и штука! – он подался вперед. Глаза у него заблестели. – Вы понимаете, что это такое? Меня не нашли. Я в федеральном розыске. Мои фотографии на каждом вокзале висели. В прошлом марте сюда, в Усть-Лихву, приезжал следователь из области. По мою душу, по наводке: кто-то стукнул, что я в районе. Я как раз у зубного сидел. Выхожу из поликлиники, а он на крыльце курит. Я его узнал, он меня допрашивал в двадцать втором году, четыре часа. Мы с ним нос к носу. Он на меня посмотрел. В упор, вот как вы сейчас. И говорит: «Мужчина, не подскажете, где тут администрация?»

– И вы?

– Показал. Рукой. Он сказал «спасибо» и пошел, – Аркадий Семенович засмеялся, тоненько, с подвизгом. – Не узнал! Меня! Понимаете? Она на год прячет. Двенадцать вечеров отходил – и год ты никто. Беда тебя не видит. Хоть на Красную площадь выйди.

– За это вы и платите.

– За это и плачу, – Смех оборвался. – Триста тысяч в месяц, проживание и стол. Плюс святочный пакет, полтора миллиона раз в год. Итого пять с лишним. У меня кое-что оставалось на черный день. Года на два еще хватит.

– Кому платите? Ефиму?

– Ефиму Лукичу. Он честно предупреждает, все расписываются. Договор, пункты. Я, как финансист, оценил: составлено грамотно.

– И что в договоре?

Аркадий Семенович замолчал. Долил себе. Рука с бутылкой чуть дрогнула.

– Там пункт есть, – сказал он, глядя в кружку. – Седьмой. «Заказчик уведомлен, что услуга сопряжена с риском невозврата и принимает данный риск». Риск невозврата. Я в банке работал, я эту формулировку знаю, только там про кредиты.

– А здесь про что?

– А здесь про то, что с Крещения один не возвращается. Каждый год. Нас двенадцать, шанс один к двенадцати. Как рулетка. Револьвер с большим барабаном. Ефим Лукич так и объясняет: плата, мол, такая, не мной заведено, кого глянет, тот и останется. Жребий.

– Что значит «не возвращается»?

– То и значит. Идем на рассвете на ключ, к проруби. Встаем в ряд. По знаку снимаем личины и умываемся. Все умылись, утерлись, смотрим друг на друга: тот здесь, этот здесь. А один стоит с личиной в руках, и... – он пошевелил пальцами перед собственным лицом. – Не знаю, как сказать. Он есть, а глядеть не на что. И ты уже не помнишь, кто это был. Вот только что помнил – и нету. Он что-то говорит, а не слышно. Потом уходит. И все расходятся завтракать.

– И куда он уходит?

– Никуда, – Аркадий Семенович оглянулся на дверь и понизил голос до шепота. – Тут они. Вы дорожки видели? Дрова? У меня каждое утро печка растоплена, а я истопника ни разу в комнате не застал. Тут они все, Глеб Андреевич. Ходят. Просто мы не смотрим. Нельзя смотреть. Посмотришь, заговоришь – прицепится. Так Ульяна Ефимовна учит.

– За три года кто не вернулся?

– При мне? – он стал загибать пальцы, толстые, с обручальным кольцом, вросшим в мясо. – В двадцать четвертом – нотариус. Кольцов, кажется. Или Колесов. Виталий... Сергеевич? Хороший был мужик, в преферанс играл. От него жена с любовником бизнес отжали и еще дело сшили, он тут отсиживался. В двадцать третьем, до меня, говорят, девочка была, блогерша. От каких-то stalkеров пряталась. А в прошлом году...

Он нахмурился. Потер лоб.

– В прошлом году женщина. Точно, женщина. Молодая. Тихая такая, ни с кем не говорила. Сидела в трапезной, с краю стола. Как же ее... Она год прожила. Целый год напротив меня ела, – на лице его появилось беспомощное, детское выражение. – Не помню. Вот ведь штука. Ни имени, ни лица. Помню, что волосы карандашом закалывала. Я еще думал: странная привычка.

Глеб сидел неподвижно.

Карандашом. Тимур вчера говорил про карандаш. У Аси в волосах.

«Значит, Ася – прошлогодняя, – подумал он. – Вот и все. Вот и разгадка: она была здесь постоянной, от чего-то пряталась, а на Крещение ей выпало».

Что-то еще шевельнулось в нем при слове «карандаш». Какое-то другое воспоминание, давнее, домашнее. Он потянулся к нему и не достал.

– А от чего она пряталась?

– Не знаю. Тут не принято спрашивать. Хотя... – Аркадий Семенович прищурился. – У нее, по-моему, кто-то умер. Ребенок, что ли. Она по ночам, когда без личины, выходила на крыльцо и стояла. Я из окна видел. Просто стояла, часами. А в личине – ничего. В личине она даже смеялась. Беззвучно так, одними плечами.

Кружка в руке у Глеба стала очень тяжелой. Он поставил ее на стол.

Одними плечами.

Мало ли кто как смеется.

– Вы чего? – спросил Аркадий Семенович. – Вам плохо? Это с непривычки, после парной коньяк... А, вы же не парились.

– Нет. Все нормально, – Глеб встал. – Спасибо за коньяк.

Дверь парной распахнулась, выпустив клуб пара. На пороге встал Никодим, огромный, красный, в одной простыне, с бородой, прилипшей к груди.

– Аркадий, – прогудел он. – Язык твой – враг твой. Я через стенку половину слышал.

– Я ничего такого...

– Ты все такое, – он зачерпнул ковшом из кадки, вылил себе на голову, отфыркался. Потом посмотрел на Глеба сверху вниз, без вражды, с каким-то тяжелым любопытством. – А ты, раб Божий, не то спрашиваешь. Ты спрашиваешь, куда они деваются. А ты спроси, куда мы деваемся. Мы-то, которые с лицами. Он вон три года сидит, от следователя прячется. Я шестой год. Сима сорок лет без малого. Спрятались. А жить когда?

– Вы сами-то от кого? – спросил Глеб.

– От Него, – Никодим ткнул мокрым пальцем в потолок. – И, представь, тоже не находит. Он ушел обратно в пар. Аркадий Семенович торопливо допил.

– Вы только никому. Что я рассказал. И насчет телефона тоже.

– Какого телефона?

Аркадий Семенович прикусил язык. Потом махнул рукой: пропадай все.

– У меня свой есть. Спутниковый. Ефим Лукич не знает. Я по нему с адвокатом. Если вам надо будет позвонить не при хозяине, вы скажите. За отдельную плату, конечно, трафик дорогой.

* * *

Он вышел на мороз с мокрой головой. Постоял у бани, глядя на озеро. Солнце уже садилось, и пар над полыньей был розовый.

Ребенок умер. Смеется одними плечами. Волосы карандашом.

Нет. Глупости. Настя здесь быть не может. Настя уехала к сестре в Калининград, он был в этом почти уверен. Она всегда говорила: если что, уеду к Ольге. Он не проверял, потому что записка, потому что «не ищи». Но она там. Работает на радио, ходит к морю. Живет.

А женщин, у которых кто-то умер и которые закалывают волосы карандашом, на свете тысячи.

– Глеб Андреевич.

Он обернулся. По тропинке от гостевого дома шла Регина Павловна Донцова. Без савана, без косы: в длинном сером пальто и в пуховом платке. Шла прямо на него, не торопясь, и остановилась в двух шагах.

Вблизи, при закатном свете, он рассмотрел ее наконец. От той, верхотомской, остались одни глаза. Темные, круглые, цепкие. Все остальное высохло, заострилось и поседело.

– Вы меня узнали, – сказала она. – В первый день, за ужином. Я видела.

– Узнал. Не сразу.

– Не сразу. Да. Меня теперь никто сразу не узнает, я за это плачу большие деньги, – она сунула руки в карманы. – Я четыре дня думала, говорить с вами или нет. Решила, что скажу. Один раз. Потом буду молчать до восемнадцатого числа.

– Регина Павловна, я...

– Помолчите. Вы свое сказали пять лет назад, на четыре миллиона человек. Теперь я. Он замолчал.

– Мальчика звали Дима Лаптев. Шесть лет. Двусторонняя пневмония, поступил ночью, в субботу. Единственный аппарат вентиляции в отделении был занят, там лежал старик после инсульта. Второй аппарат стоял в коридоре, списанный, с неисправным клапаном. Дежурный врач подключил мальчика к нему, потому что больше было не к чему. Клапан отказал в четыре утра, – она говорила ровно, как зачитывают протокол. – Вы пришли ко мне через месяц. С камерой, с этим вашим татаринном. Вы были очень вежливы. Вы сказали: Регина Павловна, я хочу разобраться, почему в районной больнице один аппарат на сорок тысяч населения.

– Я и хотел разобраться.

– Я вам рассказывала сорок минут. Я вам показала четырнадцать служебных записок. Четырнадцать, Глеб Андреевич. В облздрав, в министерство, губернатору. За три года. С входящими номерами. «Прошу выделить средства на приобретение». «Повторно прошу». «Довожу до сведения, что эксплуатация аппарата небезопасна». Вы их снимали, каждую, крупным планом. Ваш оператор еще сказал: хорошо бы пальцем водить по строчкам, так нагляднее. Я водила.

Глеб помнил. Он помнил и то, как потом сидел в монтажной над этим сорокаминутным куском. Четырнадцать бумажек, канцелярит, цифры. Скучно. Провисает. Зритель уйдет на второй минуте. А в самом конце, уже устав, она сказала, глядя мимо камеры: «Да, я знала, что аппарат неисправен. Конечно, знала. Я сама об этом писала».

Он взял первую фразу. Шесть слов. Вторую и третью отрезал. Под фразу положил фотографию мальчика и музыку.

– Хронометраж, – сказал он. Это прозвучало так жалко, что он сам поморщился. – Фильм шел пятьдесят две минуты. Я не мог дать сорок минут документов.

– Вы могли дать сорок секунд. Одну записку. Одну строчку: «главный врач три года предупреждала». Вы дали: «Да, я знала». И титр: «Главный врач Р. П. Донцова по-прежнему занимает свою должность».

– Вас оправдали.

– Через два года и два месяца, – она впервые повысила голос, и он сорвался. – За два года и два месяца мне трижды поджигали дверь. Мне писали на машине слово из четырех букв. Мой муж, с которым мы прожили двадцать шесть лет, сказал, что ему стыдно выходить со мной на улицу, и ушел к медсестре из моего же отделения. Дочь в Праге перестала брать трубку, потому что ей в комментариях под вашим фильмом кто-то выложил ее адрес. Мать Димы Лаптева подошла ко мне на рынке и плюнула в лицо. При всех. И знаете, что я подумала? Я подумала: она права. Раз в кино показали, значит, правда. Значит, я убила.

Она перевела дыхание. Пар шел у нее изо рта короткими толчками.

– А когда оправдали, про это написала одна районная газета. Тираж восемьсот экземпляров.

– Я не знал. Про дверь, про дочь.

– Вы не интересовались. Вы уже снимали следующее. Про вахтовиков, кажется.

Глеб молчал. Он мог бы сказать, что аппарат в коридоре все-таки стоял. Что кто-то должен был ответить за мальчика. Что после фильма в Верхотомск привезли три новых аппарата и область отчиталась. Он говорил это себе пять лет, на разные лады, и каждый раз оно звучало убедительно.

Сейчас не звучало.

– Я могу это исправить, – сказал он. – У меня исходники целы. Все сорок минут. Я могу сделать...

– Что? Вторую серию? «Я ошибся»? – она усмехнулась. – Ее посмотрят восемьсот человек. Нет, Глеб Андреевич. Не надо мне ваших исправлений. Я сюда приехала, чтобы меня перестали узнавать. И перестали. Я в Усть-Лихве стояла в очереди за хлебом рядом с женщиной из Верхотомска. Она меня знала лично, я у ее мужа грыжу оперировала. Она попросила передать ей соль с полки. Я передала. Мне здесь хорошо. Мне здесь четвертый год хорошо.

– Тогда зачем вы ко мне подошли?

– Затем, что вы теперь тоже в личине, – она смотрела на него в упор темными круглыми глазами. – Я наблюдала за вами два вечера. Вам нравится. Вам, оказывается, тоже есть от чего прятаться. Я слышала про вашего сына. Писали. Вы даже кино про него сняли, не удержались. Скажите мне одно. Вы там виноватого нашли? В вашем кино? Или у вас хронометраж не позволил?

Удар был такой точный, что он не сразу почувствовал боль. Так бывает при глубоком порезе.

– Не смейте, – сказал он.

– Смее. Мне теперь можно, – она поправила платок. – Вы знаете, что такое «окликнуть»? Вам Ефим Лукич объяснил, я слышала. Обычно он сам это делает. Он тут хозяин, ему решать, кто в этом году останется у проруби. Но у него есть обычай. Кто прожил три года и ни разу не пожаловался, тому он дает право. Один раз. Назвать, кого окликнуть.

– И он дал вам.

– Дал. Еще осенью. Я не знала, кого выбрать. Думала, бухгалтера: он противный и пьет. Потом думала – себя. Честное слово. А потом мне сказали, что едет кино. И кто режиссер.

– Вы хотите, чтобы я...

– Я хочу, чтобы вас не стало. Не умерли, нет. Чтобы вас перестали узнавать. Чтобы вы ходили, говорили, а на вас смотрели и не видели. Чтобы ваш оператор через неделю не мог вспомнить, как вы выглядите. Чтобы ваше имя в титрах читали и не понимали, кто это, – она говорила тихо, почти ласково. – Вы сделали это со мной за пятьдесят две минуты. Я сделаю с вами то же самое. Одним словом.

– Я не обернусь.

– Обернетесь. Все оборачиваются. Надо только знать, чьим голосом позвать, – она уже уходила. – Не сегодня. И не завтра. В последний вечер, когда отыграть будет нельзя. Вы пока носите, Глеб Андреевич. Привыкайте. Вам к лицу.

* * *

У ключа было тихо. Вода в полынье шла кругами, медленно, поднимая со дна светлый песок. Над срубом висел ковш на цепи, обросший льдом.

Глеб сидел на бревне и курил вторую подряд. Пальцы не слушались.

Он не слышал, как она подошла. Он вообще никогда не слышал, как она подходит.

– Вы без шапки, – сказала Ася. – И голова мокрая. Вы с ума сошли?

Она сняла с себя шарф. Тот самый, серый, длинный. Он успел увидеть темные волосы и карандаш, а потом шарф оказался у него на голове, обмотанный в два оборота, как платок у деревенской бабы. От шерсти пахло чем-то... Он знал этот запах. Не духи. Какой-то шампунь, травяной.

– Спасибо.

– Не за что. Она вам все сказала?

– Вы слышали?

– Видела. Издалека. Она четыре дня ходила кругами, – Ася села рядом. Не близко, на расстоянии вытянутой руки. – Она права?

Глеб затаился.

– Наполовину.

– На какую?

– На ту, что я вырезал, – он сам удивился, как легко это выговорилось. – Там было четырнадцать бумаг. Она писала, просила, предупреждала. Я оставил одну фразу, потому что с ней фильм бил, а без нее рассыпался. Мне нужен был виноватый. С лицом, с фамилией. Министрство – это не лицо. А она – лицо.

– Вы всегда вырезаете половину, – сказала Ася.

Он повернул голову так резко, что шарф съехал.

– Что?

– Ничего.

– Нет, повторите. Что вы сейчас сказали?

– Я сказала: вы вырезаете половину. Это же монтаж. Все режиссеры так делают.

– Вы сказали «всегда».

Она молчала. Сидела, глядя на воду, обхватив правой рукой левый локоть.

«Ты всегда вырезаешь половину, Глеб. Ты снимаешь человека, а оставляешь от него то, что тебе надо. Ты и нас так снимаешь». Это было сказано на кухне. Ночью. Тихим, усталым голосом, под гул холодильника. Он помнил слова. Помнил клеенку на столе, чашку с отбитой ручкой. Помнил даже, что за окном шел дождь.

Не помнил только, кто это сказал.

То есть знал, конечно. Жена. Кто же еще. Но знание это было как подпись под пустой рамкой.

– Вас окликнули, – сказал он. – В прошлом году. Аркадий мне рассказал. Вы здесь жили, год, а на Крещение вам выпало.

Она кивнула. Про это, видно, было можно.

– Кто окликнул? Ефим?

– Не знаю. Голос был не его.

– А чей?

– Меня позвали... – она остановилась. Попробовала снова. Он видел, как ей трудно: слова шли, как через вату. – Не именем. Имя бы я выдержала. Я знала, что нельзя оборачиваться, мне объясняли. Меня позвали так, как меня зовет один человек на свете. Звал. Одним словом. Детским голосом.

– Каким словом?

Губы ее шевельнулись. Шум. Тот же, ровный, пустой.

Он не услышал. Но по губам, по двум одинаковым движениям, сомкнуть – разомкнуть, сомкнуть – разомкнуть, он прочел. Этому слову не нужен звук. Его читают по губам на любом языке.

«Мама».

– У вас был ребенок, – сказал Глеб.

– Был.

– И вы приехали сюда...

– Чтобы не помнить. Хоть двенадцать ночей в году. Чтобы оно меня не находило, – она говорила совсем тихо. – Вы надевали. Вы знаете. Оно замолкает. Я год так прожила. А на последний вечер, когда шли с гулянья, сзади, из темноты: вот это слово. Тем самым голосом. Я даже не подумала. Я просто обернулась. Как вы позавчера чуть не обернулись.

– Кто меня звал позавчера?

– Вы не узнали голос?

– Узнал. И не узнал. Женский. Знакомый, – он потер лоб под шарфом. – Как будто я его каждое утро слышал.

Ася отвернулась. Плечи у нее поднялись и опустились.

– Вспомните, – сказала она. – Пожалуйста. Постарайтесь вспомнить, чей.

– Зачем вам?

– Мне... – шум. – Нет. Не могу. Просто вспомните. Вам это важней, чем мне.

Он смотрел на ее профиль. На пятно между темными волосами и воротником. Он чувствовал, что стоит на краю чего-то. Что если сейчас не отводить глаз, не моргать, удержать разом и карандаш, и шампунь, и «всегда вырезаешь», и руку на локте...

С угора, от деревни, запел рожок. Первая звезда.

– Пора, – сказала Ася и встала. – Шарф потом вернете.

* * *

Третий вечер. Восемнадцать.

Четвертый. Девятнадцать.

Он больше не снимал на вторую камеру: незачем. Считал глазами. Берестяных было уже пятеро, считая Асю, и вели они себя не так, как в первую ночь. Они перестали жаться по углам. Входили в круг, брались за руки. Один, маленький, верткий, пытался плясать, неумело, не в лад. Никто их не гнал. И никто на них не смотрел. Живые, в расписных харях, пели, топали, хохотали и обтекали гладкую бересту, как обтекают в толпе фонарный столб.

Смотрел один Глеб. Сквозь круглые глазницы журавля, поверх клюва. И они это, кажется, поняли.

На третью ночь, в давке у Симиной печи, кто-то тронул его за рукав.

Он обернулся. Не на имя, просто на прикосновение, это можно. Рядом стоял высокий, широкоплечий. Тот самый, первый, шестнадцатый. Береста была в двадцати сантиметрах от клюва. В дырках блестело.

Высокий взял его руку. Ладонь у него была шершавая, в мозолях, ледяная. Что-то плоское, твердое вдавилось Глебу в пальцы. Потом береста отодвинулась, и он пропал в толчее.

Глеб разжал кулак только под утро, в комнате.

Пластиковая карточка. Заламинированная, затертая, с дыркой для шнурка. Пропуск. «ООО Севертранс». Водитель-экспедитор». Ниже фамилия, имя, отчество: «Галиев Рустам Ильдарович». Табельный номер. Год выдачи – две тысячи двенадцатый.

Слева, в рамочке три на четыре, была фотография. Плечи, ворот свитера, уши.

Между ушами – гладкое светлое пятно.

На четвертую ночь принесли еще. Маленькая сутулая женщина сунула ему в карман балахона что-то круглое и убежала, как девочка, подбросившая записку. Это оказалась печать. Обыкновенная автоматическая, в пластмассовом корпусе. Он шлепнул ею по листу бумаги. Вышел синий круг с гербом и буквы по ободу: «Нотариус... Кольцов Виталий Сергеевич... нотариальный округ...»

Значит, не женщина. Или печать чужая. Он не знал.

Он положил пропуск и печать рядом на подоконник и долго смотрел на них.

Они несли ему имена. Он был чужой, с камерой, он на них смотрел, он их считал. И они шли к нему, как к окошку, в котором наконец зажегся свет. По одному. Каждую ночь новый. «Я здесь. Я еще здесь».

«Вот это кино, – подумал он. И сразу, следом: – Какая же ты все-таки сволочь, Ратников».

* * *

Тимур спал. Дом спал. До рассвета оставалось часа два.

Он спустился вниз в носках. В прихожей горел ночник. У стены, под лестницей, стояла конторка: высокая, старинная, с откидной крышкой. Ульяна выдавала оттуда ключи и полотенца. Он заметил еще в первый день, что на конторке лежит толстая книга в коленкоровом переплете, вроде амбарной. Ульяна что-то в нее записывала, когда они приехали.

Книга была на месте. Не заперта.

Он открыл ее с конца.

«Книга учета постояльцев». Графы: дата прибытия, фамилия и инициалы, откуда, отметка об убытии. Почерк Ульянин, круглый, старательный. Последняя запись: «05.01.2026. Ратников Г. А., Хайдаров Т. Р. Киногруппа, от района». В графе «количество» стояло: «2».

Он стал листать назад.

Донцова Р. П. Прибыла в ноябре двадцать второго. Суханова Н. В. с сыном – в двадцать третьем, в августе. Отметок об убытии нет. Живут.

Были и другие. Он вел пальцем по строчкам. Примерно раз на странице попадалась запись, перечеркнутая тонкой чертой, аккуратно, по линейке. И в последней графе, тем же круглым почерком: «Выбыл 19.01». Год менялся. Число – никогда.

«Галиев Р. И. Прибыл 02.12.2013. Выбыл 19.01.2015».

«Самойленко О. Д. Прибыла 14.10.2022. Выбыла 19.01.2023».

«Кольцов В. С. Прибыл 08.06.2023. Выбыл 19.01.2024».

Выбыл. То же слово, что на жестяной коробке с пленкой. «Звукооп. Гуревич Л. Б. – выбыл».

Он перевернул страницу. Декабрь двадцать третьего. Одна запись, в самом низу.

Сначала он увидел почерк. Не Ульянин. В графе «фамилия» постоялица расписалась сама. Мелко, с сильным наклоном влево, как пишут левши.

Он знал этот наклон. Он видел его на листке в клетку, вырванном из детского альбома.

«28.12.2023. Ратникова А. С.»

Строчка была перечеркнута. По линейке.

«Выбыла 19.01.2025».

Глеб стоял над книгой. В прихожей тикали ходики. Где-то наверху всхрипнул и перевернулся на другой бок Тимур.

Он думал, что закричит. Или что подогнутся ноги. Ничего этого не случилось. Он стоял очень спокойно и в четвертый раз читал девять букв, выведенных с наклоном влево.

И первая мысль, которая пришла ему в голову, ясная, холодная, как вода в полынье, была: «Вот теперь у фильма есть финал».

Он успел ее подумать. Всю, до точки.

А потом его вырвало. Прямо на пол, у конторки, желчью и армянским коньяком пятнадцатилетней выдержки.

Глава 6. Тетя Никто

В то самое утро, когда режиссера Ратникова вырвало на пол у конторки, Гоша Суханов, девяти с половиной лет, проснулся раньше всех. Он всегда просыпался раньше всех после ряженья. Взрослые приходили под утро, валились и спали до обеда, а ему хватало трех часов. Мама говорила: это потому, что ты еще растешь. Гоша считал, что это потому, что днем интереснее.

Он полежал, глядя в потолок. На потолке висел сучок, похожий на собаку. Мама спала на соседней кровати, лицом в подушку, и рука ее свешивалась до пола. На руке, на запястье, был шрам, круглый, с копейку. Гоша знал, откуда он. От сигареты. Знал и то, что про это нельзя говорить, как нельзя говорить про многое другое: про старую квартиру, про фамилию, про то, почему они уехали ночью, в чем были, и он забыл на подоконнике собранный наполовину лего-корабль.

Он тихо оделся. Валенки, штаны с начесом, куртка. Шапку натянул уже на лестнице.

На улице было серо и очень тихо. Мороз щипал в носу. Гоша постоял на крыльце и стал считать.

Считать ему тоже запрещали. Но он считал не ряженных. Он считал своих.

Дядя Дрова был на месте: у Симиного двора, с колуном. Он ставил полено на чурбак, поднимал колун и опускал, и полено разваливалось надвое с таким звуком, будто кто-то щелкал большим орехом. Дядя Дрова был самый высокий и самый старейший из них. То есть не старейший, как дед Пахом, а давнишний. Он тут дольше Гоши и дольше мамы. Он почти совсем не говорил, только кивал, если поздороваться. А еще он вырезал Гоше свистульку из ольхи, прошлым летом, и положил на перила, когда никто не видел.

Дядя Домино сидел на завалинке у пустой избы и раскладывал на коленях костяшки. Сам с собой. Он был маленький и сутулый, в очках без одного стекла. С ним можно было сыграть, если мама не видит. Он всегда поддавался.

Девочка-Телефон стояла у колодца. Она была не девочка, конечно, а взрослая тетя, но молодая, и в руке у нее всегда был телефон, давно мертвый, с треснувшим экраном. Она держала его перед лицом на вытянутой руке и поворачивалась то так, то этак. Раньше, говорил дед Пахом, она в него смотрела и разговаривала, много, быстро, как радио. Теперь только поворачивалась.

Еще были Тетя Варезки, которая вязала на ходу. Дядя Капитан в фуражке без кокарды. Двое, которых Гоша звал Братья, хотя не знал, братья ли они: они всегда чистили снег вдвоем. Бабушка Кошка, за которой ходил по пятам рыжий кот, единственный в деревне, кто на них смотрел, кроме Гоши. Дядя Никодимов, который подметал часовню. Дядя Конь, от которого пахло лошадей, хотя лошадей в Студенце не было. И Тетя Пальто, самая тихая, почти прозрачная: ее Гоша иногда уже и сам не сразу находил.

Одиннадцать.

Двенадцатой была Тетя Никто. Ее он сегодня не видел. Наверное, спала в бане. Она, в отличие от остальных, спала, ела и разговаривала, потому что была новенькая. С прошлой зимы.

Гоша всех их знал, потому что смотрел. Его никто не учил не смотреть, пока не стало поздно. Когда они с мамой приехали, ему было семь, и он в первый же день спросил за столом: «А почему тот дядя с топором не идет обедать?» Мама тогда побелела, а тетя Уля засмеялась и сказала: «Глазастый. Ничего, отвыкнет».

Он не отвык. Он просто перестал спрашивать вслух.

С ними было хорошо. Они не орали. Не говорили «отстань, я устала». Не вздрагивали, когда хлопала дверь. Они всегда были на месте и всегда делали одно и то же, и от этого Гоше

становилось спокойно, как от тиканья ходиков. Он только не понимал, почему взрослые ведут себя так, будто их нет. Это было невежливо. Если бы Гоша прошел мимо бабы Симы и не поздоровался, ему бы влетело. А мимо Дяди Дрова все ходили не здороваясь, хотя он колол им дрова.

Мама объясняла: «Они не люди, Гош. То есть люди, но... Их как бы нет. Понимаешь? Если на них смотреть, они прицепятся. И ты станешь такой же».

– А они заразные?

– Вроде того.

– А почему тогда я не заразился? Я два года смотрю.

На это мама не отвечала.

* * *

Он пошел к бане. Просто проверить. Тетя Никто, когда уезжала на автобусе в город, перед самым Новым годом, сказала ему: «Я вернусь, Гош. Мне надо одного человека привезти». И вернулась, с киношниками. Но теперь она все время ходила с ними, таскала свой чемоданчик с катушками, и на Гошу у нее почти не оставалось времени. Он обижался. Не сильно.

До бани он не дошел. Из-за угла гостевого дома выбежал человек.

Это был режиссер. Дядя Журавль. Он бежал в свитере, без куртки, без шапки, в одних носках по снегу, и лицо у него было такое, какого Гоша у взрослых мужчин боялся. Белое, с остановившимися глазами. Такое лицо бывало у папы перед тем, как.

Гоша присел за поленницу. Этому его учить было не надо.

Режиссер добежал до бани и заколотил в дверь кулаком.

– Ася! Откройте! Ася!

Дверь отворилась. Тетя Никто стояла на пороге в своем зеленом пуховике, накинутом на плечи. Волосы у нее были распущены, без карандаша. Она, наверное, и вправду спала.

– Что случилось? Тимур?

Режиссер не ответил. Он схватил ее за плечи. Гоша зажмурился. Но удара не было. Он открыл один глаз.

Дядя Журавль держал ее и смотрел. Близко, в упор, наклонившись. Он водил глазами по ее лицу, быстро, туда-сюда, как водят фонариком по стене в темной комнате, когда ищут выключатель.

– Это ты, – сказал он. Голос был хриплый. – Это ты? Настя? Скажи. Книга внизу, в прихожей. Двадцать восьмое декабря. Твой почерк. Скажи мне, что это ты.

Тетя Никто открыла рот.

Гоша знал, что будет. Он видел это много раз. Она старалась. Губы у нее двигались, горло напрягалось. А выходило то, что выходит, когда рыбу вытаскивают из воды. Ничего.

– Не слышу! – закричал режиссер. – Я не слышу! Громче!

Она попробовала громче. Ничего.

– Кивни! Просто кивни! Да или нет! Ты Настя?

И вот тут Гоша увидел то, чего раньше не видел. Она хотела кивнуть. Он это понял по тому, как дернулся у нее подбородок. А шея не пошла. Она стояла прямо, как столбик, как будто ее заморозили от плеч и выше. Только глаза были живые, и из них текло.

Режиссер тряс ее. Не сильно. Скорее держался за нее, чтоб не упасть.

– Карандаш, – говорил он. – Ты волосы карандашом. Она тоже. Она его грызла и закалывала. Ты смеешься плечами. Ты сказала «всегда вырезаешь», это ее слова, я помню кухню, я помню клеенку! Ты сказала, тебя позвали детским голосом. У нас был сын. Сева. Пять лет. Это ты?

Она стояла столбиком.

– Я смотрю на тебя, – сказал он тише. – Я смотрю и не знаю. Понимаешь? Я должен знать. Я с ней девять лет прожил. Я ее должен узнать с закрытыми глазами. А я стою, держу тебя и

не знаю, кого держу. Может, ты она. А может, ты та блогерша. Или вообще никто. Я не помню ее лица. Я не помню лица собственной жены, Господи.

Он отпустил ее. Сел в снег, прямо где стоял, и обхватил голову руками.

Тетя Никто постояла над ним. Потом опустилась рядом на корточки. Протянула руку, хотела, наверное, тронуть его за волосы. И не тронула. Рука повисела и убралась.

Гоше стало их жалко. Обоих. Он вылез из-за поленницы.

– Дядя, – сказал он. – Она не может.

Режиссер поднял голову. Глаза у него были красные.

– Что?

– Она не может про себя. Они все не могут. Ни сказать, ни кивнуть, ни написать. Я у Дяди Дрова сто раз спрашивал, как его зовут. Он только рот открывает. Это у них такое правило. Не они придумали.

– Ты их видишь?

– Вижу.

– Всех?

– Всех двенадцать, – Гоша подумал. – Одиннадцать тут, двенадцатая вот. Она со вчера... нет, с позавчера... Короче, она с вами ходит, а так она тоже ихняя.

– Почему ты видишь, а остальные нет?

– Остальные тоже видят. Просто не смотрят. Их научили. А я маленький был, когда приехал, меня не успели. Мама говорит, вырасту – перестану.

Режиссер смотрел на него так, как на Гошу давно никто не смотрел. Не сверху. Как на равного. Как на человека, который знает что-то важное.

– Как тебя зовут?

– Гоша. Только в личине не зовите.

– Гоша. Ты ее знаешь? – Он показал на Тетю Никто. – Давно?

– С прошлой зимы. Она в бане живет. Она мне телефон сделала из двух банок и веревки, и еще записывала мой голос на катушки, а потом давала слушать. Я там как мультик говорю, смешно.

– А до того? До прошлой зимы? Когда у нее... когда она была как все. Ты ее помнишь?

Гоша наморщил лоб. Он честно попробовал.

– Помню, что была тетя, – сказал он. – За столом сидела, с краю, где теперь пустой стул. Целый год. Она со мной не разговаривала почти. Она ни с кем не разговаривала. Но один раз я порезался, и она мне яблоко почистила. Знаете как? Одной ленточкой. Вот так, по кругу, и шкурка не порвалась ни разу. Длинная-длинная, до пола. Я потом пробовал, у меня не получается.

Режиссер закрыл глаза.

– Одной ленточкой, – повторил он.

– Ага. А какая она была – не помню. Никто не помнит, я у мамы спрашивал. Мама говорит: какая-то тихая. А тетя Уля говорит: не было никакой тети, тебе приснилось.

– А Ефим Лукич что говорит?

Гоша оглянулся. Дед Ефим был далеко, в своей мастерской, но Гоша все равно понизил голос.

– Дед Ефим вчера маме сказал, я слышал. Что прошлогодняя в лес ушла и замерзла, еще весной. А эта, которая с вами, – другая, давнишняя. Которая с телефоном была. Что она, мол, сбрендилась и к чужим людям пристала. И чтоб мама вам так и говорила, если спросите.

Тетя Никто дернулась. Режиссер посмотрел на нее, потом на Гошу.

– Это правда?

– Не-а, – Гоша помотал головой. – Девочка-Телефон вон стоит, у колодца. Я ее каждый день вижу. А эта – Тетя Никто. Дед Ефим врет. Он всегда врет, когда по голове гладит. А он маму гладил.

Режиссер поднялся на ноги. Носки у него были мокрые насквозь, он, кажется, этого не замечал.

– Гоша, – сказал он. – Мне нужен помощник. Ассистент режиссера. Знаешь, что это такое?

– Который хлопает дощечкой?

– Который знает то, чего режиссер не знает. Мне надо, чтобы ты мне рассказал про каждого. Про всех двенадцать. Кто где ходит, что делает, как выглядит. Все, что помнишь. Сможешь?

– Смогу, – У Гоши внутри стало горячо и щекотно. – А мне за это что?

– А что ты хочешь?

Он хотел сказать: лего-корабль. Или чтоб показали в кино. Но сказал почему-то другое.

– Чтоб вы с ними здоровались. Хотя бы вы. А то они дрова колют, а им даже спасибо никто.

* * *

Они сидели в бане втроем. Там было тепло, пахло веником. Тетя Никто заварила чай в большой кружке и дала режиссеру сухие носки. Шерстяные, серые, с красной каймой.

– Баба Сима вяжет, – пояснил Гоша. – Она всем вяжет. Сыну, им, даже в район кому-то посылала осенью. Ей одноглазая тетя из района заплатила, чтоб она связала для девочки и послала почтой. Баба Сима удивлялась: зачем, говорит, девочке мои носки.

Режиссер его не слушал. Он достал блокнот.

– Давай по порядку. Первый.

– Дядя Дрова. Высокий. Колет у всех. Он самый давнишний, он уже почти... ну, как бы стирается. Я его раньше лучше видел.

– Галиев. Рустам. Водитель, – пробормотал режиссер, записывая. – Он мне пропуск дал. Дальше.

– Дядя Домино. В очках, одно стекло выпало.

– Кольцов. Нотариус. Печать.

– Девочка-Телефон.

– Самойленко. О. Д.

Гоша смотрел, как он пишет. Имена! Он два года не знал, как их зовут, а этот приехал и за пять дней узнал троих.

– А откуда вы знаете?

– Они сами приносят. По ночам, в личинах. Суют мне в руки. Кто что сберег. – Режиссер потер глаза, – Они хотят, чтобы их назвали. Я так понимаю. Дальше, Гоша.

Гоша рассказал про остальных. Про Тетю Варежки, про Капитана, про Братьев, про Бабушку Кошку. Режиссер записывал приметы: рост, одежду, чем заняты. Тетя Никто сидела рядом и слушала. Иногда кивала. Про других она кивать могла.

– А они все... приезжие? – спросил режиссер. – Постояльцы?

– Не знаю. Тетя Пальто, по-моему, здешняя. Она у Харинского дома стоит, у калитки, каждый вечер. Смотрит на окна. Тетя Уля мимо нее ходит и вот так делает, – Гоша показал: отвернул лицо и скосил глаза вбок. – Она ее сильнее всех не видит.

Тетя Никто перестала мешать чай. Режиссер поднял голову.

– Тетя Пальто, – повторил он. – У Харинской калитки. Давно?

– Всегда. Она почти прозрачная уже.

Они переглянулись, режиссер и Тетя Никто. То есть он на нее посмотрел, а она на него. Гоша не понял отчего.

Потом режиссера позвал с улицы оператор, толстый дядя Медведь, и он ушел. А Гоша остался. Ему давно надо было кое-что сказать, и сказать можно было только ей.

– Теть.

– М?

– Ты ведь никому не расскажешь?

– Гош, я и захочу – не расскажу. Меня тут, кроме тебя и этих двоих, никто не слушает.

– Вот. Поэтому я тебе, – Он поковырял пальцем сучок на лавке. – Я письмо написал. Папе.

Тетя Никто поставила кружку.

– Когда?

– Перед Новым годом. Космонавту отдал, когда он продукты привозил. Сказал, что от мамы, чтоб он в ящик опустил.

– Гоша. Что ты написал?

– Ничего такого. Что мы живы-здоровы. Что живем в деревне Студенец, тут Святки и ряженые, и я буду чертом. Что пусть он приезжает на Крещение посмотреть. Только пусть не дерется.

Она молчала. Гоша заторопился:

– Я знаю, что нельзя! Я знаю, что мама говорит: найдет – убьет. Но он же не всегда такой! Он на рыбалку меня брал. Он мне удочку купил, свою, взрослую. Он, когда не пьет и когда на работе не орут, он нормальный. Я соскучился просто, – Голос у него сел. – Я когда в личине, я не скучаю. Вообще. А когда снимаю, то скучаю. А тут как раз было не в личине, перед Новым годом. И я написал.

– Адрес какой указал?

– Наш. Старый. Улицу и дом, я помню.

– А обратный?

– Обратный не писал. Только в письме, что Студенец.

Тетя Никто закрыла лицо руками. То место, где лицо. Посидела так.

– Он ведь не найдет? – спросил Гоша. – Нас личина прячет. Дядю Аркашу следователь в упор не узнал, он сам хвастался. Папа приедет, посмотрит и не узнает. Мимо пройдет. Да?

– Не знаю, Гош, – Она отняла руки. – Личина прячет от беды, которая ищет сама. А ты ее позвал. Сам, по имени, с адресом. Это как... Это все равно что обернуться, когда окликнули. Только наоборот.

– И что теперь?

– Теперь надо сказать маме.

– Она заругает!

– Заругает. А потом придумает, что делать. Она взрослая.

– Ты же обещала никому!

– Я и не скажу. Я не могу. Ты сам скажешь, – Она взяла его за плечи. Руки у нее были теплые, и держала она совсем не так, как режиссер ее. Мягко, – Гоша. Послушай. Я знаю, как это, когда скучаешь, а в личине не скучаешь. Я из-за этого сюда и приехала. Мне тоже казалось: лучше не чувствовать. Надену – и тихо. Знаешь, чем кончилось?

– Тебя окликнули.

– Меня окликнули. Потому что то, от чего прячешься, все равно знает, как тебя зовут. Рано или поздно позовет. Лучше самому выйти.

Гоша шмыгнул носом.

– Я вечером скажу. После ряженья.

– Лучше до.

– После. Честное слово.

* * *

Обедали у себя в комнате. Мама не любила ходить в трапезную днем, когда светло и когда за столом сидит чужой человек с камерой. Степанида приносила им наверх: щи в горшочке, хлеб, кисель.

Мама ела и поглядывала в окно. Окно выходило на дорогу. Она всегда выбирала такие комнаты, чтоб было видно, кто едет.

– Ты где утром был?

– Гулял.

– С киношниками не разговаривай. Я видела, ты около них вертелся.

– Они нормальные. Режиссер с Дядей Дрова поздоровался.

Мама положила ложку.

– Гоша. Я тебя сколько раз просила.

– А что такого? Он же не заразился.

– Откуда ты знаешь? Они приехали на две недели. Наснимают и уедут. А нам тут жить, – Она потеряла шрам на запястье, как делала всегда, когда волновалась. – Ты пойми. Мне эти порядки тоже не нравятся. Мне тут вообще мало что нравится. Но здесь он нас не найдет. Понимаешь? Два с половиной года – и ни разу. Он в области все отделения на уши поставил, у него связи, он кого хочешь из-под земли достанет. А нас не достал. Я в Усть-Лихве его сослуживца видела, на почте. Он на меня посмотрел и отвернулся. Как на пустое место.

– Как мы на Дядю Дрова.

– Что?

– Ничего.

Гоша возил ложкой в киселе. Письмо лежало у него на языке, большое, тяжелое. «Мам, я папе написал». Четыре слова. Сейчас. Тетя Никто сказала: лучше до.

– Мам. А если бы папа приехал. Просто так. Не драться.

– Он просто так не умеет.

– А если бы умел?

Мама посмотрела на него. Глаза у нее стали такие, что Гоша сразу пожалел, что спросил.

– Ты скучаешь, – сказала она. Не сердито. Устало. – Я знаю, что скучаешь. Он тебе отец. Он тебя не трогал, только меня. Ты имеешь право. Но я тебя очень прошу, Гошенька. Не надо мне про это. Я, когда про него думаю, спать не могу. Давай доживем до вечера, я надену свою цыганку, и мне будет все равно. Хоть на двенадцать ночей.

Она встала, собрала тарелки. Четыре слова так и остались у Гоши во рту. Он проглотил их вместе с киселем.

После, сказал он себе. После ряженья. Честное слово.

* * *

Вечером он надел черта.

Черт был у него отличный. Дед Ефим вырезал: рожки, пятачок, острый колпак, мочальный хвост пришит к штанам. В черте можно было все: бегать, визжать, дергать Кикимору за лоскуты, кататься на Кобыле. И в черте не скучалось. Ни по папе, ни по лего-кораблю, ни по Димке Шестакову из второго «Б». Просто было весело, и все.

Сегодня берестяных пришло шесть. Гоша считал своих по привычке: Тетя Никто, Дядя Дрова, Домино, Девочка-Телефон, Бабушка Кошка, Братья... Нет, один Брат. Второй пока стоял у крыльца и не входил. Завтра войдет.

Он заметил, что режиссер делает, как обещал. Дядя Журавль шел в хороводе и каждой бересте, проходя, кивал клювом. А Дяде Дрова даже сказал что-то. Дядя Дрова остановился как вкопанный, и круг чуть не развалился. Тетя Уля в козе зашипела.

К ночи Гоше захотелось пить. В Пахомовой избе вода стояла в сенях, в кадушке, с ковшиком. Он выбежал в сени, зачерпнул, поднял личину ровно настолько, чтобы просунуть край ковша.

И услышал голоса. За перегородкой, в чулане, где у деда Пахома висели веники. Говорили без пищалок, своими голосами. Гоша узнал обоих.

– ...Догадался, – сказала Смерть. То есть тетя Регина. Голос у нее был сухой, как бумага. – Он нашел книгу. Утром у бани устроил сцену, мне Степанида рассказала. Орал на всю деревню.

– Догадался, – согласился дед Ефим. Мягко, с улыбкой в голосе. – Да не узнал. Это, матушка, разное. Догадаться любой дурак может: почерк, карандаш, то да се. А узнать – надо, чтоб вот тут щелкнуло, – Наверное, он показал на грудь. – У него не щелкнет. Он на нее девять лет не глядел. Мне Таисия Ильинична про него все обсказала. Он на сына глядел, в камеру свою глядел. А жена у него была как табуретка: стоит и стоит.

– Мне его не жалко.

– И не жалею. Ты свое помни: в последний вечер. Не раньше. Раньше окликнешь – он, чего доброго, до Крещенья дознается, как отыграть. А в последний вечер, перед самой прорубью, тут уж все.

– А если не обернется? Он теперь ученый. Его в первую ночь звали, он не обернулся.

– Это я звал. Попробовать. Девка его за клюв удержала, – Дед Ефим хмыкнул. – Ничего. У меня ее голос есть, на манке. Год слушал, подобрал. В последний вечер я ее от него уведу, Мирон подсобит. А ты встанешь сзади и скажешь, что я научу. Не «Глеб». На «Глеба» он не пойдет. Ты скажешь то, что ему сын говорил. Я узнаю что.

– Откуда?

– От нее же. Она по ночам разговаривает, в бане. Сама с собой. Мирон слушает.

Гоша стоял с ковшом у рта. Вода текла по подбородку за шиворот. Он не шевелился.

– А оператор? – спросила тетя Регина.

– Оператор сам дойдет. Он в зеркало глянул, в личине. Его теперь своя беда за руку ведет. До Крещенья, может, и не дотянет, сорвется, уедет. А в лесу она его и встретит. Нам и делать ничего не надо.

– Двоих, значит.

– А нынче меньше нельзя, – Голос у деда Ефима переменялся. Улыбка из него ушла. – Нынче счет другой. Таисия Ильинична осенью приезжала. Сказала: двенадцать у вас накопилось неузнанных, Ефим. Тридцать лет вы мне чужих подсовываете, а уговор был – своих. Нынче, говорит, сочту. Я ей: чем же сочтешь, матушка? Она: лицами. Сколько должны, столько возьму. Вот я и думаю. Киношников двое. Да эта, лишняя, третья, ей все одно срок. Да бухгалтер, от него толку нет, деньги кончаются. Четверо. Авось зачтет.

– А не зачтет?

– Тогда, Регина Павловна, нам с тобой лучше на то утро у проруби не оказываться.

Ковш выскользнул у Гоши из пальцев. Он ударился о край кадушки, загремел по полу.

В чулане стало тихо.

Гоша метнулся к двери. Не успел. Перегородка отъехала, и в сени шагнул Старик с мочальной бородой. Личина смотрела на него круглыми дырками, спокойная, деревянная.

– А кто это у нас тут уши греет? – пропел дед Ефим уже через пищалку, тоненько, ласково. – Чертеночек. Попить вышел? Ну, попей, попей.

Гоша пятился. Спина уперлась в косяк.

– Я ничего не слышал.

– Конечно, не слышал. Чего тут слышать. Дедушка с тетей про хозяйство толковали, – Старик нагнулся, подобрал ковш. Повесил на край кадушки. Он был совсем рядом. – Ты беги к мамке. Заждалась, поди.

Гоша повернулся и побежал.

Он был уже в дверях горницы. Уже видел свет, слышал бубен. Еще шаг.

– Георгий!

Это было сказано негромко. Не через пищалку. Своим голосом, строгим, каким зовут, когда забыл шапку.

Никто в Студенце не звал его Георгием. Его так звал один человек на свете. Когда сердился. Перед тем, как.

Гоша обернулся.

Он понял, что сделал, раньше, чем успел испугаться. Стоял в дверях, вполоборота, с повернутой головой, и смотрел на деда Ефима. А дед Ефим смотрел на него.

Старик не двигался. Потом медленно поднял руку и взялся за свою мочальную бороду, как берутся за сердце.

– Ох ты, – сказал он. Тихо, не ласково и не строго, а так, как говорят, когда уронили и разбили. – Ох ты, Господи. Что ж ты обернулся-то, малый.

– Я... Вы же сами позвали!

– Позвал. С языка сорвалось. Хотел сказать: шапку не потеряй, – Он шагнул ближе. – Ну, ничего. Ничего. Это поправимо. Кто окликнул, тот может назад взять. Есть такой закон. При всех, без личины, до света. Дедушка возьмет.

– Сейчас?

– Не сейчас, – Деревянное лицо склонилось к нему. В дырках блестели светлые глаза. – В последний вечер. Перед прорубью. Как раз успеется. Если чертенок до тех пор будет умницей и никому ни слова. Ни мамке. Ни журавлю этому. Ни той, что в бане. Понял ты меня?

Гоша кивнул. У него не было голоса.

– Вот и славно. А проболтаешься – дедушка может и запомнить. Дедушка старый, у него память худая, – Сухая ладонь легла ему на колпак, между рожек, и погладила. – Беги, пляши.

Гоша пошел в горницу. Ноги были как чужие.

Там водили хоровод. Мама, Цыганка, увидела его и протянула руку. Он взялся. С другой стороны его взяла другая рука, в перчатке с обрезанными пальцами.

Он шел по кругу и думал про то, что дед Ефим гладил его по голове. А когда дед Ефим гладит по голове, он врет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.